



**В. В. РОЗАНОВ**

## **Эстетическое понимание истории**

Я праздновал бы великий праздник радости, если бы сама жизнь или чьи-нибудь убедительные доводы доказали мне, что я заблуждаюсь<sup>1</sup>.

*К. Леонтьев*

### **I**

Все привыкшие следить за литературной критикой, вероятно, с большим любопытством встретили ряд статей, помещенных в «Русском вестнике» за истекший 1890 год и посвященных разбору двух главных романов гр. Толстого: «Войны и мира» и «Анны Карениной» \*. Имя, подписанное под этими статьями, не принадлежит к числу тех, которые утомили своим звуком слух, и даже для многих читателей, вовсе не равнодушных к литературе, оно, вероятно, показалось ново. Правда, кто привык толкаться в качестве зрителя или действующего лица по базару литературной суеты, мог припомнить это имя из «Биографии и писем» покойного Ф. М. Достоевского \*\*. Но и это мелькнувшее, хоть и не забытое впечатление было как-то двусмысленно: в желчных строках Достоевского сказалась какая-то ненависть... Во всяком случае, это впечатление было слишком кратко, чтобы пробудить в читателях ищущий интерес, а тот, к кому относились эти мимолетные заметки, по-видимому, сам нисколько не заботился о том, чтобы привлечь к себе внимание. Его имя не повторялось в газетах и журналах, и было естественно для каж-

---

\* Анализ, стиль и веяние. По поводу романов гр. Толстого. См. «Русский вестник», 1890 г., июнь—август.

\*\* Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. Т. I. Отд. 2. С. 369 («Из записной книжки») <sup>2</sup>.

дого подумать, что он стоит в стороне от большой дороги, по которой движется развитие идей, владеющих сознанием нашего времени. Вне этого движения, из какого-то глухого угла, раздался и замолк голос, который тотчас же покрылся тысячею других голосов, правда не очень внятных и вовсе не вызывающих в нас желания прислушиваться к ним, но шум которых, вопреки этому желанию, совершенно не дает возможности сосредоточиться на чем-нибудь, что им не вторит, с ними не совпадает.

Таким образом, повторяем, для очень широких слоев читающего общества имя г. К. Леонтьева год тому назад могло показаться новым. И тем сильнее и ярче становилось впечатление, которое производил ряд его критических статей, посвященных писателю, на котором так ясно лежит печать высшего избранничества. Как ни много об этом писателе передумано, каждый, кто хочет к сказанному прибавить еще слово, невольно возбуждает к себе теперь внимание всех. Все с таким напряжением следят за развитием его душевной истории. Усилия, которые делаются многими для того, чтобы набросить покров на эту историю, хотя исходят из высоких и чистых побуждений, производят невольное впечатление на всех, кто ясно понимает, где мы и куда идем. В них видно опасение за какую-то святыню, за что-то вековечное и незыблемое, что будто бы может пошатнуть этот человек, и не видно сознания, как в действительности далека от нас эта святыня, как давно и беспредельно отошли мы от всяких незыблемых основ. Мы не с ними, не на безопасном материке, — мы, как и многие уже поколения, уносимся в мутном потоке все далее и далее, бессильные ухватиться за что-нибудь прочное своим колеблющимся сердцем и слабым умом. И если среди нас, одинаково чувствующих свою беду и одинаково бессильных бороться с нею, находится человек, который пытается это сделать, — мы должны бы этому только радоваться. Вовсе не стремление к чему-нибудь дурному, но именно полное сознание невозможности для человека жить без какой-нибудь святыни, без вековечных основ в своей душе — заставляет нас с величайшим ожиданием смотреть на писателя, который из всех один, как мощный конь, бьет и обрывает берег, усиливаясь на него выйти.

В отношении к человеку такой силы и такого значения мы всегда ожидаем встретить критику подчиненную, — и, однако, достаточно было прочесть немного страниц в статье г. Леонтьева, чтобы понять, что здесь оцениваемая сила столкнулась с не меньшей оценивающей. Писатель, так мало известный, что мы могли бы его счесть молодым, в словах, несколько разбросанных и,

однако, убедительных в каждом своем изгибе, входит в безграничный лабиринт художественного творчества нашего романиста и именно в том, в чем он казался нам всемогущим, в *искусстве созидания*, прямо указывает недостатки, которые ему больно видеть. Страстная любовь к избранному писателю сквозит через эти упреки, и мы почти не удивляемся, видя, как далее он приводит на память целые места из него без особенной боязни ошибиться хоть в одном слове. Мы начинаем сомневаться только в молодости критика, мы угадываем в нем человека, который хоть впервые заговорил о романисте, о котором уже давно говорят все, кто может хоть что-нибудь сказать, — однако очевидно, сжился с миром его художественного творчества и наконец через много-много лет, как будто пресытившись им, теперь отрывается от красоты, так долго и безмолвно созерцаемой, и, отрываясь, высказывает, почему это он делает. Почти невозможно не согласиться с его взглядом на Толстого как на последнего и высшего выразителя своеобразного цикла нашей литературы, после которого ей предстоит или повторяться и падать в пределах того же внешнего стиля и внутреннего настроения, или выходить на новые пути художественного творчества, искать сил к иным духовным созерцаниям, чем какие господствовали последние сорок лет, и находить иные приемы, чтобы их выразить. И в самом деле, всех поражающее отсутствие новых дарований, уже давно замечаемое в этой сфере, есть верный симптом того, что мы живем в промежуточную эпоху среди двух литературных настроений, из которых одно уже замирает, а другое еще не имеет силы родиться. Редкое знакомство г. Леонтьева с литературами разных народов и притом в очень различные периоды их развития, без сомнения, помогло ему, выйдя из интересов и пристрастий своего дня, подняться над целым ее циклом и, поняв его отличительные черты, понять вместе и то, что в их пределах все возможное уже достигнуто и нечего ожидать еще чего-нибудь лучшего. А по самой природе своей человеческий дух, раз в каком-нибудь направлении достигнув предела, за который ему не дано переступить, избирает новые направления, в которых он может двигаться, т. е. жить.

С большим мастерством, сравнивая два главных романа гр. Л. Толстого, г. Леонтьев находит художественные недостатки в «*Воине и мире*», которые в «*Анне Карениной*» окончательно исчезают. Таким образом, именно этот роман является окончательным и высшим выражением того направления нашей литературы, которое получило, не совсем правильно, название «*натурального*». Отражение человеческой жизни в нем стано-

вится действительно безупречным, и эта безупречность настолько велика, что изучение людей и их отношений в самой жизни или рассматривание всего этого в отражении зеркально-чистого художественного произведения становится уже одинаково и равноценно. Это — действительно апогей натуралистического развития, достигнув которого, в тех же пределах художество уже не имеет более целей, теряет их. В частности, эта безупречность достигнута тем, что и психический анализ, и скульптурность внешнего изображения в этом романе уже лишены и тех недостатков, которые еще есть в «Войне и мире» и которых было гораздо более в других, ранее написанных очерках и рассказах нашего романиста.

Понимание человеческой души есть необходимое условие для понимания человеческой жизни, и вот почему в цикле нашей литературы, имевшем задачу воспроизвести последнюю, первый занял центральное положение. Этот анализ, недостаточно проникающий у Гончарова, узкий в своем применении у Тургенева, искаженный и болезненный у Достоевского, только у гр. Л. Толстого вырос во всю полноту свою, двигаясь во всех направлениях, повсюду нормальный и достигающий везде той глубины, дальше которой для художника предстоит уже не изображение, но придумывание и фантазирование. Ему, как справедливо замечает г. Леонтьев, одинаково доступен внутренний мир мужчины и женщины \*, человека, не вышедшего из первобытной наивности \*\* и высокообразованного \*\*\*, старика и ребенка \*\*\*\*. В возрасте, в поле, в степени образования и в уклоне характеров разные писатели встречали грани, за которыми они видели лишь положения и движения, — и только для одного гр. Толстого как будто не существует этих граней, и каков бы ни был человек, где бы он ни находился и что бы ни делал, — он был ему понятен с внутренней стороны своей жизни. В одном только, в национальности, он встречает некоторое препятствие для своего ана-

\* В противоположность Достоевскому, который вовсе не знал и никогда не пытался изображать внутренние движения женщины; отсюда все женские характеры у него — бледные тени, которые действуют, но не живут около изображаемых им мужских характеров. См., например, ряд женских фигур в «Идиоте».

\*\* Сюда принадлежит, например, удивительный тип старика Алпатыча, с его поездкою в Смоленск (в «Войне и мире»).

\*\*\* Психический мир этого последнего служит предметом постоянного анализа у Тургенева; напротив, механизм внутренних движений у людей непосредственных этому художнику недоступен.

\*\*\*\* Сережа Каренин.

лиза, чрез которое не знаем, может ли, но, очевидно, не хочет \* переступить. Зато его анализ и хочет, и может переступить даже границы, положенные для человеческого понимания формами человеческой же психической жизни: он без труда на некоторые моменты спускается и в животный мир с его чуть брезжущими зачатками душевных состояний (например, в сценах охоты).

В этом анализе, столь всеильном по сферам изображаемым, г. Леонтьев находит исчезающие недостатки в «Войне и мире», которые в «Анне Карениной» пропадают окончательно. Он справедливо указывает на излишество наблюдения, на придирчивость, на подозрительное подглядывание, которое великий романист допускает в себе по отношению к выводимым у него лицам. Не только для читателя его произведений, но и для самого художника скульптурность и жизненность созданных им образов так велика, что они движутся, говорят и действуют, хотя, конечно, по воле творца своего, но и вместе как будто независимо от этой воли, и он следит за ними пытливым взглядом человека, который прежде всего хочет не доверять. Он ищет дурных и мелочных мотивов даже и там, где они вовсе не необходимы. Критик правдоподобно указывает и вероятную причину этого: он посмотрел в душу художника, так скептически смотрящего на своих героев, и увидел, что он ищет в них то, чего боится в себе. Он ищет в них ложного величия, он опасается, как бы под каким-нибудь извне высоким поступком у них не оказалось пустого места внутри. От этого он любит их унижать, он хочет видеть их смешными даже и тогда, когда они хотят быть только серьезными. Странное следствие получается из этого: оборванные, общипанные своим творцом, перед нами выходят люди, как их Бог создал, и если мы все-таки находим в них иногда черты высокого и героического, то это уже героизм истинный, правдивый. Природа человеческая высока и прекрасна, хотя и не на тот манер, как обыкновенно про это думают, — вот окончательное и неизгладимое впечатление, которое ложится на душу размыш-

---

\* Судя по типам двух гувернеров, немца и француза, в «Детстве и отрочестве», скорее можно думать, что не хочет. По поводу психического анализа иноплеменных людей у гр. Толстого вообще можно заметить, что он *собирателен*, тогда как, касаясь русских, он *индивидуален*. В изображении французов или немцев мы не видим у него лица, но только племя, народ, представленный в собирательных чертах своих чрез одно лицо; напротив, в изображении русских это собирательное есть, но оно рассеяно, как и должно, по бесчисленным фигурам его произведений, совершенно теряясь в каждой из них за чертами личными.

ляющего читателя после долгого и внимательного изучения произведений гр. Толстого.

Психический анализ в «Анне Карениной» чужд этой нервной подозрительности. Как будто взгляд автора на человека окончательно установился, когда он писал этот роман, и все приемы в изображении людей приобрели здесь окончательную твердость и отчетливость, так что в движении художественной кисти нет уже ни одного пробного мазка. Он уже не высматривает здесь душу человека, он видит ее и говорит о том, что видит, но не описывает того, что подозревает в ней.

Не менее убедительно, подробными сравнениями, г. Леонтьев указывает и превосходство «Анны Карениной» над «Войною и миром» в изображении общего колорита представленной там и здесь эпохи. Всегда и всеми «Война и мир» считалась безупречным романом с точки зрения исторической верности. Анализ необыкновенной тонкости, которому подверг критик этот роман, открывает в нем, при всюду безупречной верности природе человека вообще, некоторые уклонения в верности тому, как могла выразиться эта природа в начале нашего века. Неточность, в которую впал здесь гр. Толстой, двоякая: общая, которая чувствуется во всем романе, и частная, которая выступает особенно резко при чтении некоторых сцен его. Все в России, за исключением государственного патриотизма, было «поплоше, послабее, побледнее» выражено в эпоху отечественной войны, нежели как это представил гр. Толстой. Люди того времени не имели такой сложности в своем душевном развитии, и в особенности они совершенно не умели так отчетливо и точно выражать свои душевные движения. Они отлично действовали и хорошо чувствовали, но впадали в непремennую запутанность языка и в неясность выражений, как только им приходилось говорить о чем-нибудь сложном, углубленном, не так очевидном. Рефлексия, вечное обращение внутрь себя еще не углубило в то время и не разрыхлило душу русского человека, и все мысли в нем были не так тягучи, а чувства имели у себя более простую и ясную основу в фактах внешней действительности. С несравненным пониманием и обильным знанием фактов г. Леонтьев отмечает последовательные психические наслоения, которые позднее сгустили краски нашей личной и общественной жизни. Так, он тонко указывает на первое пробуждение у нас сильного воображения, которое замечается в Гоголе. И гораздо раньше, чем он оканчивает свою осторожную аргументацию, читатель убеждается, как много мыслей и чувств, ставших возможными и обычными лишь впоследствии, гр. Толстой внес в изображение эпохи, совершенно чуждой им. Как на пример особенно поразительный, г. Леонтьев

указывает на отношение Пьера Безухова к пленному солдату Платону Каратаеву и на все размышления первого о народном. Эти мысли и подобные отношения стали возможны лишь после славянофилов, после Достоевского, но никакого следа их мы не открываем в воспоминаниях или в литературных произведениях за два первых десятилетия нашего века.

Третий недостаток, также пропадающий в «Анне Карениной», есть излишество в «Войне и мире» ненужных натуралистических мазков. Г. Леонтьев не находит лишним введение каких бы то ни было грубых описаний или сцен, если они чему-нибудь служат, если их требует правда жизни. Так, грубое описание физиологических отправлений в «Смерти Ивана Ильича» не оскорбляет его вкус, как оно оскорбляло вкус многих критиков, во всех других отношениях менее взыскательных. Напротив, множество мимолетных замечаний, вовсе не грубых, в «Войне и мире» он справедливо признает ни для чего не служащими и видит в них только результат напряженного усилия художника всюду стоять как можно ближе к действительности. Эти излишества натурализма ничего не объясняют и не дополняют в ходе рассказа, а в искусстве, как и в органической природе, что не строго целесообразно — то уже портит, что не нужно более — делается вредным.

Таков всегда убедительный, проникнутый любовью, но уже и отчуждающийся суд, который произносит г. Леонтьев над высшими произведениями нашей натуральной школы. Мельком рассеяны в его пространном разборе меткие характеристики и других наших писателей, напр<имер> Достоевского, Тургенева, Щедрина, Кохановской, Евг. Тур, Марко Вовчка<sup>3</sup> и др. Немногие строки, посвященные им, так изумительно захватывают самую сердцевину этих писателей, что они все будут сохранены историей нашей литературы, если она захочет быть мало-мальски внимательной к своему предмету. Несколько более пространная вводная характеристика посвящена только С. Т. Аксакову. Как<ою> бледною и неумелою кажется рядом с нею краткая же характеристика этого писателя, оставленная нам Хомяковым. Этот последний был только мыслитель и публицист, а это всегда недостаточно, когда нам предстоит говорить о людях или об их истории.

## II

После цикла литературы, так полно изобразившего перед нами, как живут люди, всего более мы хотели бы видеть литературу,

изображающую, *чем* живут они; после натурализма, отражения действительности, естественно ожидать идеализма, проникновения в смысл ее.

В психических течениях, которые мы наблюдаем в окружающем обществе, эта потребность задуматься над смыслом своей жизни и в самом деле перерастает все прочее. Как будто сила жизни, которая цветет всякое лицо и заставляет всякое поколение шумно и не задумываясь идти вперед, стала иссякать в нас, — и то, что еще так недавно привлекало всех, теперь никого более не занимает. Мы потеряли вкус к действительности, в нас нет прежней любви ко всякой подробности, к каждому факту, которая прежде так прочно прилепляла нас к жизни. От мимолетных сцен действительности, над которыми, бывало, мы столько смеялись или плакали, теперь мы отворачиваемся равнодушно, и нас не останавливает более ни их комизм, ни трагизм их внешней развязки. Мы точно предчувствуем, и притом все, наступающий и темный трагизм в развитии нашей собственной души и, убегая его с ужасом, мучительно обращаем взоры вокруг и ищем, за что могли бы ухватиться в момент, когда почувствуем, что не в силах долее жить.

Вековые течения истории и философия — вот что станет, вероятно, в ближайшем будущем, любимым предметом нашего изучения; и жадное стремление, овладев событиями, направить их — вот что сделается предметом нашей главной заботы. Политика в высоком смысле этого слова, в смысле проникновения в ход истории и влияния на него, и философия как потребность гибнущей и жадно хватающейся за спасение души — такова цель, неудержимо влекущая нас к себе, и которую мы должны наконец прояснить сознанием, чтобы сколько-нибудь успешно к ней приблизиться. Как изображение частного в искусстве, так познание только частного в науке и стремление к частным же целям в действительности — все это недостаточно уже, видимо, бесполезно, и время всего этого ясно оканчивается. Мы входим в круг интересов и забот, неизмеримо более трудных и неизмеримо более важных. Нас толкает в них страдание, которого мы не можем выносить и от которого нас не может избавить никакое знание подробностей и никакая власть над ними.

Писатель, так верно и так точно определивший характер и окончание пережитого нами цикла в искусстве, быть может, имеет и некоторые своеобразные понятия о самой жизни, воспроизводимой в искусстве. И в самом деле, в его критических статьях там и здесь разбросаны мысли политические, философские и исторические, и, как они ни кратки, наше внимание необыкновенно возбуждается ими. Удивительна не только верность



этих замечаний, удивителен зоркий взгляд, высматривающий то, чего нужно главнее всего коснуться, и какая-то непостижимая беззастенчивость языка, гибкого и твердого, как сталь, которая то оскорбляет в нас все привычные чувства, то неудержимо привлекает к себе наш ум. Долгий опыт жизни, огромная начитанность и, главное, упорная вдумчивость в важнейшие вопросы нашего личного и общественного существования невольно чувствуются за этими мимолетными заметками. Мы невольно начинаем неудержимо заинтересовываться самим критиком, мы забываем разбираемого романиста и из-за его фигуры, так всем знакомой, хотим рассмотреть стоящую в тени фигуру политика, философа и публициста, который, очевидно временно, взялся за переоценку двух знаменитых литературных произведений. Очень немного узнаем мы о нем из пространных критических статей. Разве только, читая ироническое замечание о том, как гр. Толстой свои внутренние ощущения силится отыскать в людях 50-х годов, мы узнаем, что, в то время как наш романист боролся на Севастопольских бастионах, его будущий критик работал на перевязочных пунктах. Справляясь, мы в самом деле находим его имя в списках студентов, получивших в 1854 году степень лекаря\* и тотчас же отправившихся в действующую армию. Но это отрывочное сведение еще более заинтересовывает нас: в первый раз мы встречаем в летописях литературы имя, столь очевидно запечатленное высоким даром и, однако, вовсе не принадлежащее к питомцам исторических, философских и литературных кафедр. В ту немногочисленную, но в высшей степени влиятельную толпу, которая от этих кафедр всегда несла идейное развитие в наше общество, входит человек, никогда не стоявший около них, и в сухих и резких суждениях которого мы тотчас узнаем, однако, такое обилие именно идейности, которая удивила бы нас и в человеке, всю жизнь посвятившем литературе и философии. Это указывает на ум сильный и богатый самобытными стремлениями. Конечно, не требования профессии и не впечатления ученических годов, принужденно воспринятые, пробудили в нем интерес к искусству и истории, к политике и народной психологии. И если мы встречаем даже в кратких заметках его столько пронизательности, такое различие главного во всем от второстепенного, то нас не удивляет это более потому, что мы видим здесь любовь артиста к своему

---

\* См. «Историческую записку, речи, стихи и отчет Императорского Московского университета, читанные в торжественном собрании 12 января 1855 г. по случаю его столетнего юбилея». М., 1855. С. 22.

делу, а не простое прилежание книжного невольника к давно наскучившему для него занятию.

Любопытство наше возбуждено, и после долгих поисков мы находим наконец два тома дурно изданных статей его, которые посвящены исключительно истории и политике \*. Г. Леонтьев действительно писатель очень старый; но он сотрудничал в одной малораспространенной провинциальной газете \*\* или в разных изданиях. Точно какая-то судьба, насмешливая или предвзятая, не допускала его к центрам событий, куда он, очевидно, рвался, и всегда отталкивала его к их периферии, к бессильной роли исполнителя чужих предначертаний. Полный самых широких теорий, самого общего и возвышенного взгляда на текущие события, он барахтался в волне одного из них и двигался вместе с нею, один зная, куда движутся все они и куда их следовало бы направить. Можно думать, что это положение бессилия в высшей степени раздражало его, и с умом, так непреодолимо влекущимся к общим воззрениям, он, вероятно, не так ясно видел и не так умело выполнял разные мелкие обязанности, которые ему были поручены. Его служба в должности консула в турецких и славянских (до освобождения Болгарии) землях едва ли была успешна, и, вероятно, веселый и добродушный г. Якубовский, о котором он вспоминает во втором томе своих статей, был гораздо более исполнителен, деловит и удобен, чем он.

Все это сделало его наблюдателем и мыслителем. Мы редко умеем предвидеть, что было бы лучше для нас и для других, и если бы г. Леонтьеву выпала более деятельная роль в практической политике, он, верно, отдавшись ей со страстью, до конца не высказал бы тех взглядов, которыми сам молча руководился бы. Мы имели бы несколько крупных дел, несколько лишних фактов в нашей политической истории, которые могли бы быть изменены и изглажены всяким его преемником, но мы не имели бы перед собою глубоких наблюдений и теорий, которые теперь уже стали неизгладимы и могут породить неопределенное число фактов, выполнимых для всякого, кто хочет размышлять, видеть и не быть слепым игралищем темных исторических сил.

### III

Строго говоря, г. Леонтьева занимает одна мысль, и кто ее усвоил, тот читает длинный ряд его статей, забегая воображени-

\* Восток, Россия и славянство. Сборник статей К. Леонтьева. М., 1885.

\*\* В «Варшавском дневнике».

ем вперед и не ошибаясь в своих угадываниях. Но эта мысль до такой степени важна, что почти без всякого опасения ошибиться мы готовы сказать, что из всех идей, волнующих современный политический и умственный мир, ни одна не способна так встревожить нашу душу, до такой степени изменить наши убеждения, определить симпатии и антипатии и даже повлиять на самые поступки в практической жизни. Именно он первый понял смысл исторического движения в XIX в., преодолел впервые понятие прогресса, которым мы все более или менее движемся, и указал иное, чем какое до сих пор считалось истинным, мерило добра и зла в истории. С тем вместе, уже почти по пути, он определяет истинное соотношение между различными культурными мирами и преобразует совершенно славянофильскую теорию, отбрасывая добрую половину ее требований и воззрений как наивность, коренным образом противоречащую ее основной идее.

Он задается вопросом\*: что такое *процесс развития*, которого выражением служит историческая жизнь всех народов, как она уже совершилась, и которому служим мы все своим умом, своею волею и страстями, всегда надеясь ему способствовать, всегда желая устранять то, что его задерживает, — и отвечает следующее:

«Присматриваясь ближе к явлениям органической жизни, из наблюдений над которой именно и взялась эта идея развития, мы видим, что процесс развития в этой органической жизни значит вот что.

*Постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная индивидуализация, обособление, с одной стороны, от окружающего мира, а с другой — от сходных и родственных организмов, от всех сходных и родственных явлений.*

*Постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и сложности.*

*Постепенное осложнение элементов составных, увеличение богатства внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства.*

Так что *высшая точка развития* не только в органических телах, но и вообще в органических явлениях есть высшая степень сложности, *объединенная некоторым внутренним деспотическим единством*\*\*.

---

\* «Восток, Россия и славянство». М., 1885. Т. I. Ряд статей под общим заглавием «Византия и славянство», гл. VI: «Что такое процесс развития», с. 136 и сл.

\*\* Там же. С. 137.

Естественно-историческая основа, на которую становится г. Леонтьев, чтобы перейти потом к истории, чрезвычайно важна в том отношении, что она дает объективные, доступные наблюдению признаки развития и таким образом устраняет из научного исследования вмешательство страстей и вообще всякого субъективного чувства, которое затмевает для человека истину, когда предметом ее, еще искомой, служит он сам. И в самом деле, сложность не сливающихся в одно признаков как критерий развития — это дело почти арифметического счета, это открыто для всякого внешнего наблюдения.

Как старый медик, он находил нужным пояснить свою мысль примером из круга явлений, ему особенно известных: «Возьмем, — говорит он, — картину какой-нибудь болезни, положим pneumonia (воспаление легких). Начинается оно большею частью *просто*, так просто, что его нельзя строго отличить вначале от обыкновенной простуды, от bronchitis, от pleuritis и от множества других и опасных, и ничтожных болезней. Недомогание, боль в груди или в боку, кашель, жар. Если бы в это время человек умер от чего-нибудь случайного, то и в легких нашли бы мы очень мало изменений, *очень мало отличий от других легких*. Болезнь *не развита, не сложна еще*, и потому и *не индивидуализирована и не сильна* (еще не опасна, не смертоносна, еще *мало влиятельна*). Чем сложнее становится картина, тем в ней больше разнообразных отличительных признаков, тем она легче индивидуализируется, классифицируется, отделяется, и, с другой стороны, тем она все сильнее, все влиятельнее. Прежние признаки еще остаются (жар, боль, горячка, кашель), но есть еще новые — удушье, мокрота, окрашенная, смотря по случаю, от кирпичного до лимонного цвета. Выслушивание дает, наконец, специфический ronchus crepitans. Потом приходит минута, когда картина наиболее сложна: в одной части легких простой ronchus subcrepitans, свойственный и другим процессам, в другой ronchus crepitans (подобный нежному треску волос, которые мы будем медленно растирать около уха), в третьем месте выслушивание дает бронхиальное дыхание souffle tubaire<sup>4</sup>, наподобие дуновения в какую-нибудь трубку: это — опеченение легких, воздух не проходит вовсе. То же самое разнообразие явлений дает нам и вскрытие: 1) *силу их*, 2) *сложность*, 3) *индивидуализацию*.

Далее, если дело идет к выздоровлению организма, то *картина болезни упрощается*.

*Если же дело — к победе болезни*, то, напротив, упрощается, или вдруг, или постепенно, *картина самого организма*.

Если дело идет к выздоровлению, то сложность и разнообразие признаков, составлявших картину болезни, мало-помалу уменьшаются. Мокрота становится обыкновеннее (менее индивидуализирована); хрипы переходят в более обыкновенные, схожие с хрипами других кашлей; жар спадает, опеченение разрешается, т. е. легкие становятся опять *однороднее, однообразнее* (на всем своем протяжении и также со всякими другими легкими).

Если дело идет к смерти, *начинается упрощение организма*. Предсмертные, последние часы у всех умирающих сходнее, проще, чем середина болезни. Потом следует смерть, которая, сказано давно, всех равняет. Картина трупа малосложнее картины живого организма, в трупе все мало-помалу сливается, просачивается, жидкости застывают, плотные ткани рыхлеют, все цвета тела сливаются в один зеленовато-бурый. Скоро уже труп будет очень трудно отличить от всякого другого трупа. Потом упрощение и смешение составных частей, продолжаясь, переходит все более и более в процесс разложения, распада, растворения, *разлития* в окружающем. Мягкие части трупа, распадаясь, разлагаясь на свои химические составные части, доходят до крайней неорганической простоты углерода, азота, водорода и кислорода, *разливаются* в окружающем мире, *распространяются* \*.

Мы выписали подробное описание этого явления, потому что одно очень яркое представление необыкновенно закрепляет в воображении общее понятие, в смысл которого нам предстоит вникнуть. В этом явлении мы наблюдаем два типических процесса: органической жизни и органического умирания. Противоположные друг другу, они вступают в борьбу, и момент победы одного, совпадающий с наибольшей его сложностью, есть момент начинающегося упрощения другого. Смерть, исчезновение есть здесь действительно возвращение сложного к однородному, разнообразного — к сходному, обособленного — к смешанному. То, что силою жизни сдерживалось некогда в одних определенных границах, не сдерживаемое ничем более — сливается с окружающим: окружающее вступает на его место, и оно входит во все окружающее. Части организованного, прежде различавшиеся по виду и по назначению своему, теперь различаются только по местоположению и величине; они перестают быть качественными и становятся лишь количественными.

Обращаясь далее к эмбриологическому процессу, этому прототипу всякого развития, мы находим, что формирующееся в

\* Там же. С. 138–139.

нем живое существо только в последний момент, когда рождается, имеет в себе все те сложные и строго обособленные черты, которые принадлежат ему как органическому виду. Напротив, чем в более ранней стадии развития мы рассмотрим это существо, тем менее заметим мы в нем характеристических черт, и все эти черты общи ему в позднюю стадию развития — с родом, в более раннюю — с классом, еще раньше — с отделом животного царства и наконец в самый первый момент (яйцо материнского организма) — с целым животным царством. Каждая ступень развития есть как бы *навивающаяся нить различия* от всего другого, которую воспринимает на себя развивающееся существо, и они становятся тем многочисленнее, чем оно совершеннее.

Г. Леонтьев не удовлетворяется только фактами, взятыми из органической жизни, и спрашивает себя, не остается ли верным этот критерий развития и для неорганических тел? Он берет самое крупное — планету, которая является носителем всякой жизни, и в ее существовании отмечает те же три момента, какие наблюдаются и в каждом организме: 1) первоначальной *простоты*, когда она есть только газообразная или огненно-жидкая масса вещества; 2) срединной *сложности*, когда она состоит из огненно-жидкого ядра и твердой коры, а последняя из воды и суши, которая, в свою очередь, распределена в материки, различные по строению и покрытые растениями и животными; 3) *вторичной простоты*: холодная, пустынная глыба вещества, лишенная влаги и уравненная в своей форме, которая продолжает кружиться около центрального светила.

Таким образом, существование всего подлежащего закону рождения и умирания слагается из двух диаметрально противоположных процессов:

1) *из процесса восходящего развития*, в котором возникшее обособляется, уединяясь, от всего окружающего, и внутри его каждая часть обособляется, уединяясь, от всех прочих; но это обособление касается лишь формы и функционирования: все части проникнуты единством плана, и он-то, коренясь в обособляющем <ся> существе, разнообразит своею сложностью его части и вместе удерживает их от распада;

2) *из процесса нисходящего развития*, в котором все вторично смешивается, смешиваясь, сливается и становится однородным как с окружающим через утрату внешних границ своих, так и внутри самого себя через потерю границ, которые в нем отделяли одну часть от другой.

В обоих процессах, как это ясно, господствующее начало есть *начало грани, предела*: становится оно тверже, непереступаемее

для содержимого — и жизнь возрастает; тускнеет оно, не сдерживает более содержимого — и жизнь блекнет и исчезает. Грань — это не только символ жизни, но и зиждитель ее; неопределенность, неограниченность — это эмблема смерти и ее источник.

#### IV

Собственно, приведенным понятием исчерпывается теория г. Леонтьева; все остальное — только приложения. Но, как великие метафизики XVII в., кладя в основание своих умозрений два-три определения, возводили на них строгие и возвышенные системы, так из простого, но хорошо обоснованного понятия о развитии г. Леонтьев выводит необозримые следствия, простирающиеся на историческую жизнь и на практическую политику.

Прежде всего он спрашивает себя, не подлежит ли этому двоякому процессу, восходящему и нисходящему, и историческая жизнь народов со всем их творчеством? Обилие признаков, разнообразие сдерживающих граней не есть ли и для них признак восхождения, а слияние этих граней и смешение внутреннего содержимого — признак нисхождения, как это мы наблюдаем в органической природе и даже в неорганических телах?

В принципе ограничения, в наружном оформлинии выражается внутренняя идея того, в чем оно присутствует. Если мы возьмем, напр<имер>, часовой механизм, то будет ли он сделан из дерева, из бронзы или из золота, то, *из чего* он сделан, — будет незначащим, а то, *как* он сделан, — т. е. вид каждой части и соотношение или связь всех их между собою (форма целого), — будет значащим. Только эта *форма* и есть *признак*, по которому часовой механизм мы отличаем от плотного куска дерева, бронзы или золота или от деревянного, бронзового или золотого сосуда. Итак, содержимое (материал, вещество) само по себе всегда бесформенно, лишено признаков и незначаще; оно будет тем, чем сделает его привходящая форма, и лишь как способное воспринять форму — т. е. сделаться тем или иным определенным существом или предметом — оно имеет значение. Напротив, форма или вид, как начало ограничивающее и сдерживающее, исполнено значения, и когда она приходит в какое-нибудь содержание, — это последнее получает соответствующий смысл. Вместе с тем оно получает (принимая в себя определенную форму) и обособляющий признак. Таким образом, многоформенность или сложность признаков во всем развивающемся тождественна

с проникновением в существо его внутреннего смысла: оно одухотворяется и — именно в силу этого — нарастает в нем жизненность. Напротив, растворение сдерживающих граней и смешение их содержимого потому именно и тождественно с умиранием, что — с удаляющимися гранями — исчезает смысл в том, чему они были присущи; сливаясь, смешиваясь, теряя обособленность, — все обесмысливается. Так, если бы к тонкому механизму, только что изготовленному из золота, мы поднесли пламя свечи, — мысль, вложенная в него художником, стала бы блекнуть и исчезать по мере того, как под действием жара все его отдельные части растаивали бы, теряли твердость граней и взаимно сливались. Винты перестали бы отделяться от того, во что они входят, зубчатые колеса заменились бы гладкими, все части сделались бы неразличимы, и, подойдя к нему слишком поздно, никто не понял бы в массе распустившегося золота той мысли, которая еще за несколько минут была так ясно в нем выражена.

Если в сложном, уже развитом организме мы рассмотрим соотношение его обособленных частей, то заметим, что каждая из них как бы обращена внутрь себя, и внешняя грань, которую она отделяется от всех других, смежных частей, имеет к этим последним отношение отталкивательное, как бы враждебное; они же стремятся преодолеть ее и смешаться с содержанием, которое за этой гранью находится. Таким образом, состояние внутреннего антагонизма есть нормальное для всего организованного: борьба есть именно то, через что каждая часть продолжает быть собою и не смешивается с прочими, через нее именно прочнее и прочнее она отделяется от окружающего и по мере этого становится совершеннее. Все стремится утвердить бытие свое и достигает этого путем все совершеннейшего и совершеннейшего обособления, которое есть не что иное, как отрицание всего прочего. Насколько отрицает — все утверждается, насколько силится привнести в остальное смерть — само живет, но, привнося смерть, оно тотчас сливается с умершим, т. е. раздвигает свои грани и в меру этого умирает. Таким образом, жизнь есть вечная гармония борющегося, и она продолжается и возрастает, пока не наступает победа; как только эта цель достигнута — в живое приходит смерть как естественное завершение жизни. Частичное преодоление сопротивляющегося есть частичное умирание; разрушение всех граней, которыми окружающее охраняет себя от того, что с ним борется, было бы для разрушившего окончательной и полною смертью. Неограниченное, не обособленное ни от чего — оно перестало бы быть *чем-нибудь*.



Применимое к целой природе, это правило применимо и к части ее — к человеческой жизни. Если мы возьмем какую-нибудь сферу его духовного творчества, напр<имер> умственную, то содержимым явится здесь мысль как неопределенная способность представлений и понятий сочетаться между собою; формою же или гранью будет определенное сочетание этих представлений и понятий, которое мы называем обычно наукою или философскою системою. Три момента, указанных г. К. Леонтьевым для всего развивающегося, без труда могут быть найдены и в этой сфере: умственное содержание человека в начале его исторического развития скудно формами и не разграничено почти никакими пределами. Истинное смешивается с ложным, и все образует однородную массу кратких, не углубленных знаний, разных понятий и мнений, которые кажутся справедливыми. По мере развития первую гранью является разделение ложного от истинного: находятся признаки последнего (способы доказательства или вообще убеждения) и с помощью их одно отграничивается от другого. Далее истинное по предметам своим начинает группироваться в отделы и возникают науки как строго обособленные части одного ветвящегося дерева познания. С другой стороны, древние простые правила народной мудрости заменяются более развитыми воззрениями, и по мере того как жизнь возрастает в них — они распадаются на многочисленные системы философии: являются этика и метафизика, в последней — идеализм и реализм и т. д. Цветущий момент науки и философии есть момент и величайшей их сложности и в то же время — повсюдной борьбы отдельных учений, доктрин; постоянно выделяются среди уже существующего множества новые и новые воззрения с мягкими оттенками различий, и каждое из воззрений этих ожесточенно утверждает свою истину и одновременно — особенность свою от всего прочего. Затем наступает период вторичного упрощения: внутренняя сила в каждом отдельном воззрении ослабевает и оно сливается с ближайшими к нему. Теряют остроту свою и твердость и более крупные деления: целые философские системы сливаются в однородные массы мнений с колеблющимися внутренними формами. Появляются эклектики, которые соединяют прежде непримиримое, заботясь о том лишь, чтобы в полученном был, по крайней мере, тот или иной общий характер, напр<имер> спиритуализма. Распространяется индифферентизм ума, он утомляется продолжительным и строгим исследованием истины и охотно ограничивается только утверждениями и отрицаниями. Остаются лишь очень общие, совершенно лишенные внутренней архитектоники, воз-

зрения, напр<имер> вообще материалистическое и вообще идеалистическое. Но и эти воззрения, уже очень неопределенные, все более и более тускнеют в сознании людей: в сущности, безразлично для всех становится, которое же из двух этих воззрений правильно, и ни для одного из них человек не пожертвует уже ничем, даже незначущим. Если прежде за оттенок в мышлении люди принимали изгнание, тюрьму и костер, то теперь и за всю совокупность воззрений своих никто не поступится простыми удобствами жизни. Эта окончательная простота мысли, сводящаяся к равнодушному придерживанию немногих утверждений или отрицаний, совершенно тождественна с тою первичною простотою, из которой она развилась. Таким образом, в умственной области, по-видимому, долженствовала бы только возрастать, в действительности происходят процессы и возрастания и умаления; выражение: «Ты *персь* был и персью станешь»<sup>5</sup> — применимо и к духу человеческому, как и к его внешней оболочке.

Если далее мы рассмотрим искусство, то и здесь найдем, что в первоначальной стадии своей оно состоит в простом прибавлении к необходимому (жилище, одежда, утварь домашняя) очень немногих знаков, которые украшают, т. е. необъяснимо нравятся человеку независимо от своей полезности; таков грубый рисунок на оружии или на сосуде или иное, чем было ранее, расположение в складках одежды, наконец, какое-нибудь незначущее изменение в постройке дома, напр<имер> приблизительное соблюдение симметрии в частях его, хотя она вовсе не требуется нуждами помещения. Дальнейший рост искусства выражается в том, что это *прибавочное сверх пользы* начинает все возрастать и вместе с тем начинает становиться все сложнее и самостоятельнее: к симметрии частей в здании присоединяются резьба или придаточные украшения, к расположению складок в одежде прибавляется узор и разнообразное окрашивание, рисунок на утвари вместо фигуры зверя представляет изображение целой охоты. Наконец прекрасное отделяется совершенно от полезного, и создание последнего является уже только как средство, иногда как предлог для того, чтобы как-нибудь и в чем-нибудь выразить красоту. Одновременно с этим искусство разнообразится: появляются, сверх архитектуры, еще скульптура и живопись и изобретается музыка. В самих видах искусства появляются школы — строгие, обособленные оттенки в выражении красоты (как, напр<имер>, в эпоху Возрождения — ломбардская, флорентийская, венецианская и римская школы живописи, существовавшие одновременно). Затем начинается и здесь вторичное упро-

щение: внутренний принцип, отграничивающий каждую школу от остальных, теряет свою силу, и все они сливаются, заимствуя одна у другой лучшие черты. Особенности в способах воплощения красоты исчезают, и остается одно лишь воспроизведение типичного в природе — это натурализм, грубый или прикрашающий. Наконец сохраняются лишь внешние приемы искусства, т. е. его техника; все стили смешиваются, и так как ни в одном из них человек уже не чувствует непреодолимой потребности, то чаще и чаще при создании необходимого они забываются все. Прекрасное снова скрывается в полезном, из которого оно вышло. Быть согретым в жилище или удобно разместиться в нем — это опять становится единственной заботой человека при постройке себе дома или при возведении какого-нибудь другого здания. Сообразно нуждам этим, немногим и одинаковым, все становится по-прежнему просто и однообразно.

В религии, в поэзии и во всем другом мы также заметим сложность форм в цветущий средний период развития и простоту в первичный момент и в эпоху упадка. Религия как начинается неопределенною верою в высшее духовное существо, в загробное существование, в награду за добрые дела и наказание за злые, так и оканчивается этими же простыми и смутными верованиями: деизм философа и фетишизм дикаря совпадают между собою в простоте содержания. Напротив, строгий внешний культ, сложная духовная иерархия, обильные религиозные представления и понятия — все это нарастает только к середине развития и разрешается к концу его; в момент высшего расцвета религия соединяется со всеми формами творчества и проникает все черты быта, становясь одновременно высшею философиею, на исповедании которой сходятся все люди, и высшею поэзиею, на созерцании которой они все воспитываются. Она дает формы для выражения самых противоположных чувств, ее языком выражают радость и в ее же священных словах изливают печаль. В полном смысле слова она становится неотделимою от человека и от жизни, и вот почему ни за что другое не было пролито в истории столько крови, как за нее. Что касается до поэзии, то о большем разнообразии ее в средний, цветущий период едва ли предстоит надобность говорить: она начинается с простой песни и сказки и, с другой стороны, оканчивается безжизненным пересказом, однообразною сатирою и одою. Между этими фазами вырастают оживленная драма, напряженная лирика, неуловимо разнообразные виды эпоса. Но гораздо важнее здесь разнообразие внутреннее, а не внешнее: в моменты высшего развития поэзии творчество каждого отдельного поэта приобретает глубокую

*индивидуальность*; будучи выражением своего времени, оно, сверх того, раскрывает неисчерпаемое содержание и личного духа (как это мы видим, напр<имер>, у Шиллера, Гете или у Вальтера Скотта и Байрона). Напротив, в периоды упадка поэзии, как и при ее зарождении, все в ней бывает не только малоформенно, но и *безлично*: все создают приблизительно одинаково, приблизительно об одном и все в том же духе. Внутренних, неуловимо разграничивающих особенностей, налагаемых личностью поэта на его творчество и делающих из созданий его своеобразный мир, никогда более не повторяющийся в истории, уже не наблюдается. Есть тусклое, немногосложное выражение эпохи, над которым трудится бесчисленное количество людей; но нет выражения углубленной личности, которую за своеобразие ее и мощь мы называем гением.

## V

Приложимый к видам творчества, этот критерий развития не приложим ли и к самому источнику их, человеку, т. е. к исторически развивающимся племенам, нациям и, наконец, группам их?

Содержимым здесь является племенная масса, а нервной тканью, которая проникает ее, разграничивает и внутренне формирует — *учреждения* и им соответствующие *формы быта*. Самая общая и резкая грань, которая обуславливает индивидуальность племени, делает миллионы рождающихся и умирающих существ живым лицом в истории, полным смысла, определенного выражения и воли, — есть политическая форма, т. е. государство. Насколько народы слагаются в государства — настолько живут они в истории, и насколько по оттенку своему политическая форма каждого из них отличается от других — настолько жизнь самого народа привходит в историю новою чертою, которая не сливается с остальными. В этом отношении творить, создавать — значит быть своеобразным; быть тождественным с другими — значит быть звуком, усиливающим шум других звуков, но не образующим с ними никакой гармонии. Спарта или Македония были ниже Афин по своей исторической роли; но если бы вместо Спарты, Афин и Македонии было трое Афин — история была бы беднее своим содержанием. Вторые и третьи Афины уже не нужны после первых.

Политическая форма только обособляет одно племя от другого, и если бы внутри этой формы не было еще других граней, — оно было бы бедно организацией, в высшей степени не развито.

Развитость здесь, внутри, выражается в проходящих горизонтальных и вертикальных делениях; первые расслаивают племя на сословия; вторые разграничивают на области территорию, им занимаемую. Чем более своеобразия в пределах тех и других граней, чем полнее в них жизненное напряжение, разбегающееся в различные стороны, тем ярче жизнь целого исторического народа, глубже и разнообразнее его творчество, ценнее то, что он вносит в общую сокровищницу человечества. Но при этом единство типа должно быть сохранено как у самого народа с остальным человечеством, так и внутри его — между всеми обособленными частями.

Единство человеческого типа у всех исторических народов выражается как в общности некоторых основ их психической жизни, так и в том, что эта психическая жизнь у каждого народа в высшем и самом мощном своем проявлении всегда является только частью, которая, очевидно, входит слагающею чертою во что-то иное, целое. Общи всем народам стремление к истине, к справедливости, к красоте, наконец искание Бога, и общи же законы, по которым они находят все это в меру своих сил и способностей. Это единит всех людей между собою, делает их на расстоянии тысячелетий помощниками друг другу на пути к немногим и далеким целям. В противоположность этому унитарному началу истории, заложенному в душу всякого человека, в нее же заложено другое начало, но уже проявляющееся в жизни целых народов, которое их разъединяет, по-видимому в действительности же гармонирует. В силу этого второго начала, ни один истинно исторический народ не является повторением другого ни в характере своем, ни в судьбе, — но, не повторяя, он дополняет. Есть внутренняя согласованность в чертах этого характера и этой судьбы с характером и судьбою других народов, в силу чего лик человеческий и уже полный — не есть бессмысленный, но мы читаем в нем живую мысль и выражение. В самых неудержимых порывах и в вековом труде, в прихотливой игре гения и в упорном постоянстве воли мы видим, как великие народы выводят каждый свою черту в истории, о которой они обыкновенно ничего не знают при жизни сами, но которую мы находим готовую или выполняемую, когда они сами становятся уже трупом или когда сквозь подробности их жизни мы начинаем разглядывать ее существенный смысл. Которое бы из двух великих племен, сложивших своею деятельностью историю, мы ни взяли, мы и в них самих, и в широких группах народов, их составляющих, одинаково найдем присутствие этих, взаимно согласованных, черт, которые в одно и то же время и

противоположны одна другой, и дополняют друг друга до целого. В монгольской расе одна часть, *южная*, является, как никакой другой народ в истории — зиждущею, повсюду и неустанно, почти без способности отдыха и праздной лени и без способности же задумать среди этой праздности что-нибудь гениальное, великое, особенное. Как будто самою психическою природой своей она согнута над землю, по которой ползти, ее разрывать, ею питаться и удобрять ее своим прахом — составляет вечный удел, над которым она не в силах подняться ни своим воображением, ни мыслью. Мирное, обширное государство китайцев, их причудливо-сложный и бесполезный быт, безбрежные нивы, обделанные с тщательностью маленькой игрушки, их живопись без теней, мастерство без искусства, долгая и утомительная история без всякой примеси героизма — все это лишь многообразное развитие одного символа, в котором перед лицом других народов это племя как будто молчаливо выразило свою мысль в истории, — символа царя и сына неба, мирно идущего за своим плугом однажды в году в назидание миллионам людей, которые это же делают во все остальные дни жизни своей. И в то время как южная часть этого племени неустанно и тысячелетия трудится между Гималаями и Великою Стеною, его *северная* часть, от Великого до Атлантического океана, не однажды проходила бурною, все разрушающею волною. С подобным инстинктом разрушения, с такою ненасытною жаждою видеть растоптанным чужой труд, с каким появлялись в истории Тимур, Атилла, Чингис-хан и другие меньшие, все из одного племени и только из северной его части, мы совершенно не наблюдаем народов из других рас на всем протяжении земной поверхности. Эти «бичи Божии» для мирного человечества, эти «порождения дьяволов» для перепуганных народов, со странною ролью своею в истории, которую нельзя ни исключить из нее, ни к чему-нибудь приспособить, в действительности являются как строгая, ни в чем себе не изменяющая черта, восполняющая до целого монгольский тип. Сущность этого типа, последней цветной расы в человечестве, составляет *деятельность* как низшая степень выражения духа в истории, высшие формы которого, чувство и разумение, составляют удел кавказской расы. Но в пределах этой слабой одухотворенности высшее сознание, управляющее жизнью народов, выразило одинаково ясно обе возможные стороны: и положительную, которую является созидание, и отрицательную, которую является разрушение. Земледелец, никогда не отрывавшийся от своего поля, и кочующий разрушитель царств, один в труде своем и другой в завоеваниях одинаково слепо, но отчетливо для

наблюдателя выражали неизвестную для них волю и оставшуюся навсегда непонятною мысль. Если далее мы перейдем к кавказскому племени, то и здесь найдем подобное же выделение взаимно дополняющих друг друга особенностей. Прежде всего, в своем целом это племя представляет противоположность монгольскому по крайнему перевесу в нем внутреннего содержания, одухотворенности над внешним выражением ее, т. е. деятельностью: мир наук и философии, религиозных созерцаний и поэзии — все это есть субъективное развитие духа, неисчерпаемые сокровища его, почти не выраженные. Но если, помня только эту противоположность, мы обратимся к составу народов самого кавказского племени, мы увидим продолжение в них того же процесса выделения противоположностей. Прежде всего, семитическому духу, столь ясному и простому, так неизменно направленному внутрь себя, противоположен арийский дух<sup>6</sup>, который открыт для восприятия всех впечатлений и не только усваивает их все, но и жадно их ищет. Это удивительное явление, что, не поверив истинности тех пределов, которые открывались ему в пространстве и времени, ариец переступил их все с помощью своих наук, этих чудных изобретений своего гения, — факт этот обнаруживает непонятную и, однако, несомненную связь, которую имеет его душа с мирозданием во всем, а не видимом только ее объеме. Душа семита как бы свернута к какому-то внутреннему средоточию, без сомнения к самому прекрасному и глубокому, к чему может только обратиться человек: напротив, от этого средоточия, вовсе не прерывая связи с ним, душа арийца развернута и, обращаясь во все стороны, жадно пьет отовсюду дыхание природы. Далее, в пределах собственно арийского племени мы прежде всего встречаем ясно расчлененный греко-романский мир. Как ни разнообразен был гений Эллады, мы можем все-таки отметить в нем одну черту, которая, не заглушая остальных сторон его, однако, господствовала над всеми ними: это — чувство красоты. Не то важно, что греки создали в поэзии и в пластических искусствах никогда не превзойденные памятники (тогда как и в философии даже они все-таки превзойдены были новыми народами), не это одно значительно, что простым идеям Гомера и статуе Венеры Милосской на протяжении более чем двух тысячелетий еще не утомились удивляться люди: гораздо значительнее удивительная пластика их жизни и истории. Вся эта жизнь ясна и проста, как обнаженная статуя, она и чрезвычайно, к тому же, кратка. Но странно, что в течение всех событий греческой истории есть какая-то удивительная мера, странно, как каждое из них оканчивалось именно

тогда, когда нужно, и так, как нужно. Бесплезная деятельность Демосфена, бегущий с Марафонского поля мальчик, Фукидид в числе слушателей Геродота<sup>7</sup> — все это вещи вовсе не необходимые, все это — прихоть игривой фантазии, которая, творя историю, не имела других целей, кроме как украшать. Мальчик мог бы не умереть, Фукидид — родиться несколько позднее, Софокл мог бы и не иметь дурных детей<sup>8</sup>, но вся греческая история от этого была бы менее прекрасна и все это было, чтобы ничего не доставало красоте ее. Без сомнения, позднейшие законодательства и учреждения более сложны, глубоки и мудры, нежели те, какие оставил Солон и какие приписаны Ликургу; итак, во всем они превосходят их, безмерно уступая, однако, в одном — в ясной гармонии, в какой-то безотчетной красоте, которую мы и здесь чувствуем. Можно в высшей степени сомневаться в плодотворности всех замыслов Перикла, всех достижений его; в них сомневался и Фукидид; но и он не мог оторвать очарованного взгляда от личности врага своего, и мы знаем также, что Перикл — один в истории. Есть еще другая личность в греческой истории, быть может более удивительная в этом отношении: это Алкивиад<sup>9</sup>. Мы все не сомневаемся ни в его пороках, ни в полном вреде его для государства, которое любим, как свое родное: но, замечательно, мы так же бессильны ненавидеть его, как и афиняне, которых он губил. Измените *кое-что* в его образе, придайте его тщеславию напыщенность (что так естественно), его увлекающим речам — торжественность, чуть-чуть смягчите его бессовестность — и очарование пропадет, как в чудной картине, в которой всякий штрих на месте и с его передвижением — пропадает вся красота ее. И если бы не было этого удивительного юноши, мы живо чувствуем — чего-то глубоко доставало бы в греческой истории; ей, которая, конечно, должна была окончиться, нужно было, чтобы конец соответствовал содержанию: чтобы он не был слишком тягостен и, в особенности, чтобы чувство интереса, с ним связанного, не падало. Греции нельзя было пасть, как Риму или еще кому-нибудь, в грязи, в бездарности, в отвратительном худосочии: после гениальной жизни ей нужно было гениально и умереть. И как торжественно-ясная греческая трилогия заканчивалась искупляющим смехом заключительной комедии, — так и Греция после неясного детства, которое она пережила в мифах, после героической юности, когда она боролась с «великим царем», после зрелого плодоношения в век Перикла, окончилась и страшно, и вместе как-то светло в этом чудном походе в Сицилию, в странной ночной оргии с разбитыми статуями, и во всех, то жалостных, то гениально-забавных



перипетиях афино-спартанской распри, с чудным Алкивиадом в центре. Все в ней поразительно, но вовсе не заставляет отвращать от себя глаз, как заставляет это делать отвратительный трупный запах, который мы ощущаем, напр<имер>, в Риме еще задолго до его смерти. Ничего на всем протяжении греческой истории мы не находим ни отталкивающего, ни бездарного, ни утомительно-скучного; все исполнено жизни и движения и как вовремя приходит, так и уходит своевременно. И если, поняв эту главную черту греческой жизни, мы обратимся к Риму, то без труда заметим, что его жизнь представляет как бы отрицательный полюс только что рассмотренной: в противоположность идее красоты господствующей идеею в нем является начало пользы. В учреждениях, как и в религии, мышлением, как и волею, римляне всегда ощущали только удобную сторону во всем и, скользя по этому одному уклону, создали всемирное государство и вековечное право — нормы человеческих отношений, не обращенных ни к чему высшему, идеальному.

Переходя наконец к народам, история которых еще продолжается, мы встречаем индивидуализм германцев, противоположный универсализму южноевропейских народов. Все обобщить, все слить единством формы — это составляло на протяжении веков мучительную заботу романского гения, как все разорвать на отдельные миры и в каждом из них поставить центром личное «я» — составляло недостаток и вместе достоинство гения германского. Одна молитва для всех народов, одинаковые права для всех людей и, наконец, им всем равное имущество — это стремились утвердить на земле папство, революция и социализм, все одинаково возникшие в недрах романского племени. Костры инквизиции и гильотина Конвента, залитые кровью Вандея, Нидерланды — все это страницы романской истории, говорящие о различном, но всегда в одном духе, с одним настроением. Менялись начала, во имя которых стремилась эта раса утвердить цель свою, но никогда не изменялась в истории самая цель, ради которой избирались эти начала: слить и обобщить человечество, так далеко разошедшееся в путях своих. Совершенным отрицанием этого начала является в истории дух германский, всюду разрывающий единство, — в государстве, в религии, в праве и даже в науке и в философии. Раздробленная империя, рассыпавшийся феодальный строй, наконец безбрежно расплывшийся в сектантстве протестантизм — все это факты одного порядка, следствие неукротимого стремления человеческого духа уходить, оторвавшись от единящего центра, все дальше и дальше к периферии. Специализация знаний, почти индивидуализм

в науке и в философии есть продолжение в новое время того же явления. Уже Тацит заметил, что германец всегда ставит себе жилище *среди* своих полей, а не кряду с соседями, не в деревню, не в село; и эта черта духа, замеченная полторы тысячи лет назад, является господствующею во всем и теперь. Всюду, что бы ни делал германец, он «ставит свою хижину особо» — мало заботясь о других и избегая всякой заботы о себе. Так в политике и в церкви, и даже так в поэзии. Ни к кому не обращенный монолог — это сущность не только германской лирики, но также и эпоса в значительной степени \* и лучшей драмы. В «Гамлете», в «Манфреде», в «Фаусте» наиболее глубоко выразил германский гений свою личность, и что все эти трагедии, как не уединенные монологи, лишь для разнообразия и изредка прерываемые незначущими диалогами. По справедливости, те неощутимые нити, которыми природа каждого из нас связана с природою всех остальных людей, как будто особенно слабы в этой части человечества, и, ничем не сдерживаемая, она даже тогда, когда должна бы единиться (как в знании, как в вере) — неудержимо рассыпается, как рассыпаются монады ее <у> Лейбниц<а> или мир «целей в себе» ее <у> Канта.

Мы взяли лишь самые крупные деления и наиболее резкие черты, проходящие по движущейся в истории массе человечества, но их *всюду отталкивающийся взаимно* характер не оставляет никакого сомнения в том, что они произошли не случайно, но в силу действия высших гармонизирующих законов. Та самая причина, которая удерживает в нашем теле всякую часть на своем месте и препятствует всем им смешаться и слиться, — эта самая причина или ей подобная, расчленив человечество на расы, дала каждой из них свой особый духовный строй и определила для каждой особый тип развития. Ясно, что обезличение народов, их взаимное уподобление (если бы оно когда-нибудь наступило в истории) могло бы быть следствием только того, что эти гармонизирующие законы уже перестают действовать в человечестве.

Мы остановились так долго на сдерживающем единстве потому, что, сосредоточив свое внимание на начале разнообразия, г. К. Леонтьев только указал его, но не определил и не объяснил. Теперь мы можем обратиться к этому началу разнообразия, которое наряду с единящею силою является вторым зиждущим элементом истории.

---

\* Сюда относятся многочисленные *повествовательные* произведения, имеющие форму дневника, записок и пр., лучший образец их «Страдания Вертера» Гете.

## VI

Из расчленения человечества на племена, взаимно противоположные по духу, вытекает своеобразие каждого отдельного племени, его национальный тип. Принудительный для каждого индивидуума, для всякого сословия или какой<-то> другой группы в пределах племени, этот тип сам обязан происхождением своим исключительно соотношению, в котором находится данное племя ко всем остальным племенам рода человеческого. В силу этого соотношения оно является в среду других народов, чтобы восполнить некоторый недостаток в них, заместить пустоту, ими оставленную, но которой они обыкновенно не чувствуют и не замечают. Ясно, что несливаемость с другими типами, борьба против них, их отрицание — есть только наружная и необходимая черта в своеобразном народе, по которой мы именно открываем, что он гармонирует с этими отрицаемыми типами, дополняет их, как недостающий звук, который, только не сливаясь с другими звуками, образует с ними необходимый аккорд. Борьба есть здесь симптом глубочайшей связи, стремление каждой части подавить остальные — только признак высокого напряжения жизни в целом.

Этот расовый антагонизм, следствие расовой соотносительности, принудительно действуя на то, что лежит внутри каждой отдельной из них, является источником ее целостности и единства. Но мы сказали выше, раса есть слишком крупное деление, и внутренняя ткань исторически движущегося человечества была бы слишком груба, если бы внутри его не проходили еще другие деления. И эти последние действительно есть: они расчленяют каждый народ и территорию на своеобразные части, из которых самые обыкновенные — *сословия* и *провинции*. Последним делением является *род* и *семья*, внутри которого уже находится только личность, индивидуум. Закон антагонизма как выражение жизненности сохраняет свою силу и здесь: сословия, провинции, отдельные роды и, наконец, личности в пределах общего для всех их национального типа — борются все между собою, каждый отрицает все остальные и этим отрицанием утверждает свое бытие, свою особенность между другими. И здесь, как в соотношении рас, победа одного элемента над всеми или их общее обезличение и слитие было бы выражением угасания целого, заменю разнообразной живой ткани однообразием разлагающегося трупа.

Убедительность и верность этого общего правила становится особенно яркою, если мы обратимся к живой действительности,

т. е. к истории. В какую точку ее мы ни направили бы наблюдение, раз эта точка есть высшая, если в ней совершается цветение, — она исполнена страстной борьбы взаимно враждебных элементов. Все то, что народ оставляет после себя вековечного и удивительного в сфере мысли, художественного созидания, нравственности или права, — он производит в немногие и краткие минуты существования, когда каждая часть в нем надеется еще победить, когда ни одна из них не знает еще о своем завтрашнем поражении и конечной гибели. Иллюзия победы, самообман от незнания будущего есть истинный источник всех великих напряжений в истории, которые создали все прекрасное и законченное в ней. Афины времен Перикла, Рим в эпоху Гракхов, Франция Ришелье и Фронды, Германия при начале реформации были одинаково полны внутренней борьбы и духовного сияния. Кровь обильно струилась во все времена, вражда разделяла людей, когда эти люди были особенно прекрасны, исполнены веры, когда был смысл в их жизни и они знали этот смысл.

Отсюда понятно значение некоторых особенностей, которые мы замечаем в человеческой природе. Эта природа всюду ограничена, абсолютное манит ее к себе, но никогда не достигается; ей не дано сил ни к совершенному ведению, ни к ощущению совершенного добра и красоты. Человек слаб и обусловлен, и мы понимаем, что именно поэтому он и живет: глубочайшим образом, скрытно от самого человека, <с> этою слабостью его и обусловленностью связано самое продление его жизни. Жить — значит стремиться, значит колебаться и искать, т. е. еще не знать; развиваться, переходить от несовершенного к лучшему — значит все еще быть далеким от него, значит чувствовать страдание, видеть несправедливость и, отвращаясь от нее, жаждать противоположного, чего, однако, не видишь и только предчувствуешь, что неясно и непостижимо, хотя и влечет к себе. Слияние в абсолютном идеале, равно для всех понятном, — это было бы уничтожение различий и движения, т. е. самой жизни в том смысле, в каком одном она дана нам здесь, на земле.

И, однако, все ограниченное, приближающееся предполагает предел, к которому оно приближается. Поэтому если жизнь, нам данная и известная, держится лишь настолько, насколько мы сами ограничены, то это только обнаруживает перед нами точный ее смысл. Без всякого сомнения, истина и добро существуют не в том только относительном значении, в каком они открываются нам, но, хотя скрытые от нас, они существуют и в абсолютных формах; и соответственно этому абсолютно существующему добру и абсолютной истине есть и другая, более пол-

ная жизнь — за гробом. Потому что если уже иллюзия истины и иллюзия обладания добром дает нам силы жить, то истина и добро неиллюзорные содержат в себе неугасающий источник лучшей и вечной жизни; и, однако, здесь, на земле, всякое прикосновение к абсолютному было бы равнозначуще с прекращением жизни (деятельности). Следовательно, эта должная и невозможная жизнь есть, но только там, где оканчиваются условия земной жизни человека, т. е. для него — за гробом. В силу причин, о которых нам ничего не дано знать, человек должен почему-то вечно трудиться на земле, и для этого внушена ему *надежда* — чтобы он хотел трудиться, и наложено *ограничение* — чтобы он *не переставал* трудиться. Но подобно тому, как смутные, неясные и сбивчивые попытки решить математическую задачу вытекают именно из того, что для нее есть решение и даже в уме решающего есть что-то, что соответствует этому решению, но только искажено и неправильно, — так и вечно неудачный труд человека на земле указывает на что-то окончательное и уже удачное, что его ожидает, когда он окончит свой труд.

Но, во всяком случае, это абсолютное не дано нам ни как знание, ни как ощущение, и жизнь наша проходит в формах, определяемых лишь частичным его ведением и частичным же ощущением. Мы снова возвращаемся к этой относительной жизни, самую широкую картину которой представляет собою всемирная история. В этой истории г. К. Леонтьев верно определил признак высшего напряжения жизни: это — разнообразие всех элементов живущего, стремление каждого из них утвердить себя через удаление от остального, через его отрицание; однако через отрицание, не подавляющее прочего, но лишь удерживающее его от захвата в себя и ассимиляции с собою отрицающего элемента. Разнообразие положений, обособленность территорий и, прежде всего, богатство личного развития — вот простые и ясные признаки, по которым мы можем судить о большем или меньшем обилии жизни в целом, будет ли то народ, какая-нибудь историческая культура или, наконец, все человечество.

## VII

С таким мерилom жизненного напряжения г. К. Леонтьев подходит к своему веку, к тому великому веку, которого мы все — дети и который своим величием и силою чудовищных оборотов так сковал нашу мысль, поработил желанья, так оболстительно вовлек все наши страсти в движение своих форм, что мы обыкновенно ничего другого не хотим, как только любить их,

им содействовать во всем, и в этом одном полагаем цель и достоинство своего существования. Нужна была особенная и удивительная сила отвлечения, чтобы стать в стороне от этого движения и обаяния и, прикинув к своему времени строгое мерило, произнести над ним суждение, отвечающее объективной истине.

Чтобы иметь силу к этому, г. Леонтьев прежде всего освобождается от всех тех личных взглядов и субъективных чувств, которыми естественно связан каждый из нас в отношении к тому историческому целому, в чем он составляет часть. Первое и самое главное из этих чувств есть чувство сострадания или счастья, которое мы пытаемся уловить в человеке и произнести, основываясь на нем, свое суждение о той или иной исторической эпохе, о том или другом общественном строе. Он указывает на неуловимость этого чувства, на его неопределенность и вместе сомневается, чтобы оно отсутствовало или смягчалось в каком-нибудь процессе живого развития. Вот прекрасные слова, в которых вылилась у него эта глубокая и справедливая мысль: «Все болит у древа жизни людской; болит начальное прозябание зерна; болят первые всходы, болит рост стебля и ствола, и развитие листьев и распускание пышных цветов сопровождаются стонами и слезами. Болят одинаково процесс гниения и процесс медленного высыхания, нередко ему предшествующий. *Боль для социальной науки — это самый последний из признаков, самый неуловимый;* ибо он субъективен, и верная статистика страданий, точная статистика чувств недостаточна будет до тех пор, пока для чувств радости, равнодушия и горя не изобретут какое-нибудь графическое изображение или вообще объективное мерило» \*. Он приводит случай, которого сам был очевидцем, где внешнее движение, по-видимому вызываемое страданием, в действительности вовсе не имело под собою этого чувства: это восстание жителей острова Крита, почти не ощущавших на периферии турецкой империи того давления, которое было очень сильно в ее центре, где иноверное население оставалось, однако, спокойно. «Всякий наблюдатель, — говорит г. Леонтьев, — был поражен цветущим видом критян, их красотой, здоровьем, скромной чистотою их теплиц, их прелестной, честной семейной жизнью, приятной самоуверенностью и достоинством их походки и приемов. И вот они прежде других турецких подданных восстали, воображая себя самыми несчастными, тогда как фракийские болгары и греки жили гораздо хуже — терпели тогда несравненно больше личных обид и притеснений и от дурной полиции, и

---

\* «Восток, Россия и славянство». Т. 1. С. 147.

от собственных лукавых старшин; однако они не восставали, а болгарские старшины — те даже подавали султану адреса и предлагали оружием поддерживать его против критян» \*. Этот случай действительно поразителен. Мы припоминаем, как Токвиль в своей превосходной книге «L'ancienne regime et la Revolution» также объясняет, что положение французского народа, как городского, так и сельского, было уже значительно облегчено в царствование Людовика XVI и не могло идти ни в какое сравнение со страшным гнетом, которому он подвергался при деспотическом Людовике XIV и в распущенные времена регентства и Людовика XV. И вот, однако, в минуты наибольшего гнета он оставался спокоен и, напротив, восстал, как только этот гнет был снят с него.

Как это нередко бывает, свободному отношению г. Леонтьева к своему предмету помогло именно то, что он не постоянно был связан с ним, что круг его наблюдений и интересов долгое время не имел ничего общего с политикой и историей. Он припоминает впечатления из совершенно иного мира человеческих страданий и верно переносит значение, которое они там имеют, сюда: «Раскройте, — говорит он, — медицинские книги, и вы в них найдете, до чего субъективное мерило боли считается маловажнее суммы всех других, пластических, объективных признаков; картина организма, являющаяся перед глазами врача-физиолога, вот что важно, а не чувство непонимающего и подкупленного больного! Ужасные невралгии, приводящие больных в отчаяние, не мешают им жить долго и совершать дела, а тихая, почти безболезненная гангрена сводит их в гроб в несколько дней» \*\*.

На этих-то пластических картинах, на объективном наблюдении, из которого выделена всякая примесь субъективного ощущения, г. К. Леонтьев и основывает свои заключения. Можно отвергать эти заключения, если они почему-либо не нравятся, можно бороться против них *волею*; но нельзя их оспаривать, нельзя бороться с ними *мыслью*, потому что они являются строгим и ясным результатом именно ее деятельности.

Прежде всего он останавливает свое внимание на политической стороне европейской истории за XIX в.; как ярче всего выраженная, более освященная и уловимая, она лучше всего способна осветить истинный смысл этой истории.

Знаменитые и немногие формы политического устройства: *монархия и республика, аристократия и демократия*, с их

\* Там же. С. 147–148.

\*\* Там же. Т. I. С. 147.

типичными извращениями, *охлократией* и *тиранией*, — все это, завещанное для политической науки еще из древности, есть результат абстракции, в которой не сохранено главного: индивидуальности исторических народов. Когда люди боролись только за форму правления в городе или в небольшой стране, когда дело шло о преобладании того или иного класса населения, — можно было думать, что в этом преобладании или в этой форме правительства сосредоточивался весь интерес исторической жизни и они же должны служить постоянным предметом мысли для всякого теоретического политика. Но с тех пор как поле исторического наблюдения так расширилось, когда вопрос идет о существовании или разрушении целых культурных миров, — рамки древнего политического созерцания должны быть оставлены. Нельзя обобщать в одном имени монархию Кира, Тиберия или Карла Великого и еще нелепее было бы подводить сюда же «единовластие» какого-нибудь деспотического царька из внутренней Африки. Равным образом Венеция или Новгород, Флоренция или Рим, несмотря на отсутствие во всех них единоличной власти, не имеют ничего общего в строе и в духе своей политической жизни. Каждый народ, страна или даже город, если они вносят что-нибудь *свое, особенное* во всемирную историю, имеют и в политическом своем устройстве нечто особенное, несут лицо свое перед другими народами, вовсе не вторящее им, никого не повторяющее в чертах своих. Именно в этих особенных, нигде и никогда не повторяющихся чертах и содержится главная суть политической жизни; тогда как в общих явлениях единовластия или многовластия остается абстрактный ее отброс, не имеющий живого значения.

Исходят исторические народы все равно из безличной массы человечества, в которой первоначально они бывают уравнены единством немногих и простых потребностей и отсутствием всего, что, возвышаясь над этими потребностями, вместе с тем обособляло бы народы друг от друга. Но по мере того, как, покинув эту безличную массу, единичные страны и племена начинают восходить в истории, — их лицо в ней проясняется, индивидуализируется. Можно думать, что именно выработка индивидуальных черт составляет главный смысл истории: до такой степени восхождения или нисхождения в ней народов всегда и всюду сопровождают только выяснение или затемнение этих черт. Все другое в истории имеет то одно направление, то другое, все не вечно в ней, уклончиво и изменчиво; и вечно только одно — прояснение лица своего собирательным человечеством, что выражается в формировании народов, государств, наконец целых культурных миров.



В немногих, слишком бледных, слишком скудных словах г. К. Леонтьев отмечает, однако, своеобразные *типы политического сложения* у всех главных исторических народов. В Египте это была монархия, строго подчиненная религиозному мирозерцанию, ограниченная законами и понятиями священного характера, с народонаселением, резко распадавшимся на состояния по главным формам человеческой деятельности, из которых каждая была предоставлена выполнению особой группы людей (касты жрецов, воинов, земледельцев и другие меньшего значения). Подавленность всех, от фараона до последнего нищего, одним и общим для всех религиозным ритуалом и, в пределах оставленной свободы, угрюмое несение каждым своего долга — вот неповторяющаяся особенность египетской жизни, серьезной и печальной, трудолюбивой и подавленной, в одно и то же время исполненной глубокой практичности и мистических созерцаний, причудливой фантазии и недоговоренных мыслей.

Светлое представление Ормузда<sup>10</sup> и его вечной борьбы со злом придало более открытый характер и сообщило более деятельную, подвижную роль древнему Ирану. Царь персов\*, земное олицетворение Ормузда, то борется с окружающими дикими народами, то отдыхает после победы, наслаждаясь всем, что дает природа. Около него группируются его помощники, всегда и прежде всего воины, ведущие его полчища на другие народы, еще не признавшие его власти. Это странное желание, покорив Азию и Африку, покорить еще и неизвестную, темную Европу, от которой совершенно не видно было, что именно можно получить, есть лишь необходимое и естественное продолжение той мысли, что свет должен окончательно воспреобладать над тьмой и привести всех к единству и к поклонению единому владыке, олицетворению единого всепобеждающего добра и света. Вероятно, никогда еще и ни в какое время царская власть не была окружена таким благоговейным чувством, как здесь, и к этому чувству не примешивалось ничего вынужденного, подневольного. Г-н К. Леонтьев рассказывает, как он удивлен был, прочитав об одном действительно поразительном факте из истории греко-персидских войн, который рисует смысл древнеиранской жизни в несколько ином виде, чем как мы привыкли представлять его себе: «Во время случившейся бури персидские вельможи бросались сами в море, чтобы облегчить корабль и спасти Ксеркса;

---

\* Замечательно, что не царь *Персии*, т. е. не страны, не территории, а именно людей, ее населяющих. В этом титуловании себя цари персидские бессознательно выразили взгляд на свою, и с собою — всего Ирана, миссию в истории.

при этом они поочередно подходили к царю и склонялись перед ним, прежде чем кинуться за борт... Я помню, — продолжает он, — как, прочтя это, я задумался и сказал себе в первый раз: это страшнее и гораздо величавее Фермопил! Это доказывает силу идеи, силу убеждения, бóльшую, чем у самих сподвижных Леонида<sup>11</sup>; ибо гораздо легче положить свою голову в пылу битвы, чем обдуманно и холодно, без всякого принуждения, решаться на самоубийство из-за религиозно-государственной идеи» \*. Во всяком случае, этот факт обнаруживает, что в сердце людей, которых мы привыкли считать только варварами и рабами, жили чувства, настолько внутренне сдерживающие каждого, насколько это возможно только при самой выскокой и многовековой культуре, при особенных дарованиях народа, при вере его в высшие мистические идеи, управляющие историей и осуществляемые в жизни народов: потому что ведь как легко было этим вельможам выбросить самого Ксеркса за борт, если их самопожертвование не было сознательно и свободно.

Переходя на европейскую почву, мы встречаем на утренней заре ее истории цветущую Грецию с ее миром маленьких автономных государств, слабо соединенных единством общего происхождения, некоторых учреждений, но, главное, языком и религиею. Городской характер этих государств, полное безучастие сельского люда в историческом движении — вот общая и в высшей степени характерная черта всех их без исключения. Город, πόλις, и среди него площадь, вечно шумящая народом, — вот что постоянно рисуется перед глазами историка, который занят событиями этих крошечных общин. Речи ораторов, негодующая или ликующая толпа и воины, поспешно выходящие из нее и идущие к недалеким границам или садящиеся на корабли в близлежащей гавани — таковы обычные сцены, повторяющиеся на всем протяжении Греции и во все время ее недолгого существования. Все как-то дробно в ней, и все —человечно. Нет величия огромных массовых передвижений, нет темных влечений и неясных мистических созерцаний; все в высшей степени отчетливо и ясно как в мышлении, как в чувстве, так и в течении исторических событий.

Мы уже заметили о мерной красоте, разлитой во всей этой жизни, так <ой> краткой и, однако, так <ой> привлекательной для всех последующих народов, гораздо более углубленных. Следует прибавить, что красота эта была исключительно объективного характера. Вся жизнь Греции, как и все душевное содержа-

\* «Восток, Россия и славянство». Т. I. С. 88.

ние греков, как-то удивительно выпукло выразилась наружу, не оставив в себе ничего затаенного, что они не смогли бы, или не захотели, или не успели высказать. Скульптура была любимым искусством их, и это есть то именно искусство, где за выраженной, ясною чертою ничего не скрывается, нет никакой тени, оставляющей в живописи место для воображения, и нет неуловимых переливов, какие есть в музыке. Оно действует исключительно на зрение, на способность внешнего созерцания, тогда как столь родственная ей живость, вследствие присутствия в ней полутеней, незаметно начинающихся и оканчивающихся линий, действует главным образом на внутренний мир нашей души: зрение является здесь, как и в музыке слух, не восприимчиком впечатления, но лишь проводником его. Но даже в статуе или в изваянии греки избегали изображать то, что сколько-нибудь отражало бы в себе состояние человеческой души: бесстрастное, не страдающее и не радующееся, но только прекрасное лицо было вечным предметом воплощения их великих художников. В этих воплощениях, к всегдашнему удивлению людей, никогда не было изображения глаз, т. е. — по нашему представлению — главной красоты человека, которая сообщает его лицу осмысленность, внутреннее выражение. Глаза по справедливости называются зеркалом души, и греки не хотели смотреть в это зеркало, они набрасывали на него покров. В преобладании эпоса и трагедии над лирикой также высказывается объективный характер их творчества, более направленного к воспроизведению внешнего, нежели к выражению внутреннего. В эпосе пересказываются, в трагедии передаются точно движения и слова другого, но не движения своей души. И что бы другое мы ни взяли, всюду мы отметим этот же внешний характер их созерцания или их чувства. В религии, самом сокровенном содержании человеческой души, они не оставили после себя никаких молитв, т. е. никакого уединенного обращения к Богу, как бы они его ни понимали. Торжественные церемонии, общественные процессии, наконец жертвоприношения, совершаемые от лица народа государственным сановником, — вот в чем выразилась у них потребность религии, красиво, но и холодно. От этого так легко перешли их религиозные торжества в трагическое и комическое искусство, которому они придали серьезность, а от него получили взамен красоту и пластичность. Искусство было у них религиозно, потому что и религия их была только наиболее глубоким искусством.

Слабость, бессодержательность и безынтересность семейной жизни уже сама собою вытекала из этого объективного склада

их души. Дом как место сна и даже не всегда место обеда (Спарта) и, наоборот, общественные здания как место постоянного времяпрепровождения — вот бросающиеся черты городского устройства греков. Всегда окруженный толпою, с детства и до глубокой старости, грек среди нее воспитывался, развивался, для нее творил подвиги и от нее только желал и добивался удивления, этой особенной и поверхностной формы любви, к какой одной только, по-видимому, он был способен. И в самом деле, как дружба \*, так даже и брак имели всегда у них, собственно, чувственную основу с очень сильною примесью эстетического, но несколько не нравственного влечения. Так что не очень удивляет нас мысль Платона \*\*, что семьи должны бы быть устраиваемы, пары сводимы — государством. И в самом деле, именно государство есть истинная семья афинянина или спартанца, и отсюда — такая возвышенная любовь к нему, такая привязанность к его интересам, братская любовь между собою всех граждан, открытость всех их отношений и также — их простота, безыскусственность, внутренняя непринужденность. Мудрейшие, поучающие среди рынка юношей, беседы в тенистых садах Академии и в Лицее и это всегдашнее «ты» при обращении, эта неизменная примесь комизма и веселой шутливости при самом серьезном содержании речей — есть уже невольное и естественное проявление широко развившейся семьи — государства.

Слишком понятен и тип политического сложения, который развивался отсюда. Так тесно, так близко примыкая к государству, каждый грек являлся как бы кусочком одной кожи, которая, состоя из них, — их же и стягивала, и единила. Каждый из них уже от природы был носителем и воплощением государства, и только малолетство или безумие могло помешать всякому вмешиваться в судьбу родины, в свою судьбу. Отсюда взгляд их на единовластие, на всякое возвышение, на тиранию. Это было нечто *противоестественное* в греческой общине, и именно как *противоестественное* — возбуждало к себе смешанное чувство отвращения, ненависти, почти ужаса. Ни соображения пользы, ни экономические выгоды, ни слава внешняя не искупали того позора, который налагал «тиран» на город, над которым он господствовал. На время тирании община как бы замирала, и хотя события, иногда даже великие, происходили, история ее, как

---

\* Как на особенно знаменитые подтверждения этого можно бы указать на рассказ о падении Писистратидов — у Геродота и на многие указания в диалоге «Федр» — <y> Платона.

\*\* Высказанная им в «Республике».

биение внутренней жизни, останавливалась. Отсюда всегдашнее сочувствие греков к героям, которые восставали против тирана и каким бы путем ни было — свергали его. Среди несчастий или внешнего унижения, при невообразимых внутренних раздорах — все равно была жизнь после тирании, тогда как при ней ее не было. Отсюда остракизм, изгнание всякого слишком выдающегося по дарованиям как предупреждение тирании: отсюда — предпочтение ей даже внешнего порабощения как последнего средства от нее освободиться. Властитель во всяком другом государстве есть распорядитель абстрактных функций, лишь *задающих* отдельное лицо; в Греции он был *присвоителем* того, что составляло неотъемлемое внутреннее содержание каждого, — он был врагом и оскорбителем всякого отдельного человека. Отсюда раннее исчезновение неясных теней монархизма на всем протяжении Греции; и самоуправляющаяся община, которую поглощена, сдвлена, но и определена в достоинствах своих, воспитана и увенчана личность. Все государственные функции здесь поручались как равными равному и, конечно, не оплачивались, как не оплачивается украшающее и возвышающее доверие, которое оказывается другу. Вспомним, чтобы лучше понять это явление, отвращение и негодование, которое вызвали к себе софисты тем, что стали брать плату за обучение. Они были представителями начинающейся розни, распадаения слитой некогда общины на мир индивидуальностей, из которых у каждой есть *свои* заботы, нужды и интересы. Ничего подобного, уходящего внутрь себя, не было в первоначальном, не пошатнувшемся греческом мире. Ясное обращение к внешнему, открытость каждого ко всем сказывалась во всякой черте их жизни, во всяком движении. Их душа, как и их боги, всегда была обнажена, и среди шумящего народа, в экклесии или в буле<sup>12</sup>, их ораторы так же состязались, как борцы на Олимпийских играх. Один взгляд на ясную Афродиту уже мог бы для всякого чужестранца объяснить их государственное устройство; как, понимая последнее, без труда было бы можно определить манеру их воплощения красоты в зодчестве, в скульптуре, в трагедии и в лирике.

В высшей степени замечательно чувство отчуждения греков от всех соседних народов, напр<имер> гораздо сильнее, чем какое было у древних персов. Оно находится в тесной связи с глубокою общностью между собой всех граждан города, всех городов Греции. Война международная — это все-таки симптом связности народов, хотя и отрицательный, и греки никогда не вели войны с «варварами», пока они не напали на них. Все войны греков — внутренние, между собою, и замечательно, что ни-

когда поводом к войне не было желание для себя территориального расширения за счет соседей. Завоевательных войн, где одно политическое тело поглощает или теснит другие, мы в собственно-греческом периоде истории почти не знаем: и это есть признак отсутствия в Греции политического индивидуализма, резкой разграниченности между собою отдельных государств. Обычным поводом к войне была здесь борьба «за гегемонию», или, точнее, против гегемона, т. е. против выдающегося какого-нибудь города, который, обособляясь от прочих, силился стать над ними тираном. Таковы Пелопонесская война против Афин, Коринфская и Фиванские войны против Спарты. Другим поводом, столь же обнаруживающим тесную связь между собою греческих городов, служило оскорбление какого-нибудь святилища, равно для всех драгоценного (так называемые «священные войны»), или помощь городу против овладевшего им тирана (например, Спарты — Афинам против Гиппия). Таким образом, и внешние отношения и внутренний строй обнаруживают в мире греческих государств особый тип политического сложения, который не наблюдался раньше и не повторялся потом.

Черты психической объективности и вытекающей отсюда гражданской связности наблюдается также и в Риме, где открытость отношений, общность интересов (*res publica*), поручаемость и безвозмездность государственных функций господствуют над всем остальным, как и в Греции. Но взамен конкретности в способности представлений, какую мы находим у греков, мы встречаем у римлян абстрактность ума, более способного к образованию понятий, нежели к созданию образов. Неразвитая мифология, божества как символы понятий или отношений (напр<имер>, божество границ — «термин», или храм Согласия), слабость всех образных искусств и великое развитие права есть следствие этого абстрактного склада ума, направленного, как сказано уже было, на полезную сторону во всем. Образцы чередуются, тогда как понятия развиваются, т. е. растут и усложняются, захватывая все более в себя содержания, но не разрываясь, не утрачивая при этом своей истинности или приложимости, — и эта разница в отношении двух продуктов человеческого духа к внешнему материалу есть не последняя причина великой разницы, которую мы находим в судьбах Греции и Рима, столь родственных, столь близких по происхождению и всему внешнему облику жизни. И в самом деле, все растет в Риме, все растягивается, последовательно захватывая в свои политические формы древний Лациум<sup>13</sup>, потом Италию, наконец все побережье Средиземного моря, весь дотоле известный мир. Любопытно, что между-

государственные отношения, какие мы наблюдаем в Греции, одною чертою своею отсутствуют в Риме, другою же повторяются. В противоположность греческим государствам Рим есть община, постоянно силящаяся разрушить или поглотить соседние, но не территориально, а, собственно, политически. Рим не столько расширяет свою государственную территорию, сколько отнимает самостоятельную политическую жизнь у соседних общин, подавляет у них волю, независимое проявление своего «я», подчиняя и сливая все это со своим могучим желанием: это выражается в ряде союзных договоров, которыми была связана Италия, но вовсе не *присоединена* к Риму, перед Пуническими войнами. И даже после этих последних, когда Рим выступил за пределы Италии и стал, собственно, завоевательным государством, он постоянно завоевывал, собственно, право, а не территорию, искал более подчинения, нежели земельного увеличения для себя: все отношения, напр<имер> к Нумидии, к Македонии, к Египту и наконец к азиатскому Востоку, ясно показывают это преобладание чисто юридической стороны над грубо физическою. Границ государственных в том смысле, как были всегда и есть теперь границы у Франции, у России, — мы не знаем у Рима; и, очерчивая на карте пространство Римского государства, мы, собственно, очерчиваем сферу его мощи, круг народов и стран, жизнь которых текла уже не по собственному желанию, но по указаниям из Рима. От этого самое определение времени, когда какая-нибудь страна стала частью Римского государства, всегда так затруднительно. Рим лишь последовательно и очень медленно придвигал к себе, присасывал и наконец вбирал в себя ту или иную страну, тот или иной народ. Конечно, во времена Нерона вся Италия уже была Рим; но когда это *сделалось*, после какого события или в каком году? Или когда была поглощена Иудея: при Помпее, при Клавдии, при Веспасиане? Эта медленность ассимилирования со своим организмом внешних национальных тел была одною из существенных причин неудержимого роста Рима: ни в какой момент поглощаемый народ не знал, что, собственно, он уже поглощается; было незначительное умаление прав, снятие нескольких лишних штрихов, которыми обозначалось его существование в мире, выражалась его личность в истории, — и не казалось необходимым напрягать все силы, чтобы во что бы то ни стало удержать эти штрихи, без которых существование ведь продолжалось и только несколько тускнело. Все войны, имевшие целью отстоять свое существование, какие велись против Рима, были для него уже борьбою внутреннею, бессильным биением живого тела, вошедшего, но упорствовавшего раство-

ряться в римском теле (например, борьба с умбро-сабельскими племенами при Сулле, окончившаяся в 88 г. до Р. Х., начало же поглощения их относится приблизительно к 305 г. до Р. Х.).

В соответствии с этим процессом урегулирования отношений к себе всего внешнего шло в Риме и урегулирование взаимных отношений всего внутреннего, что выразилось в развитии права. Направление созерцания в сторону полезного, абстрактный характер этого созерцания, бессознательно извлекающий из частных случаев их общую и постоянную основу, наконец объективность всего душевного склада — вот психические задатки, из которых выросло римское право. История, ее нужды и задачи, ею поставляемые, были только возбуждающим стимулом к этому развитию, но не его основой.

Все указанные особенности античного мира, отразившиеся и на его политическом сложении, сообщают ему две черты: красоты и холодности. В его несложном устройстве, в его внешнем религиозном культе, в его историческом возрастании и самой смерти все правильно и ясно, все просто — как красиво и просто все в сочетании линий, которому мы удивляемся в Парфеноне. Почти все, к чему бы ни обратились мы здесь, привлекает и удерживает долго наше созерцание, давая ему наслаждение умственное или художественное. Но нет ничего почти, что нас и трогало бы. В своем геройстве, в своей борьбе, в самом даже страдании и смерти греки и римляне остаются как-то чужды для нас, не вызывают сожаления к себе, как почти не жалели они и друг друга. Нет нравственного момента в их жизни и истории, и это оттого, что есть великий недостаток в ней субъективного. Они близки были друг к другу, но лишь извне, как граждане, но не как люди, и как гражданам мы удивляемся им, но вовсе не любим их как людей.

Средние века представляют собой антитезу этому миру: все в них неправильно, все хаотично; невыразимо груб их быт, как и первобытно искусство, понятия о природе и отношения государственные. Но если после великолепных страниц Фукидида или Тацита мы обратимся к какому-нибудь безвестному хроникеру, мы испытаем невольное облегчение — удовольствие, похожее на радость: наконец мы опять видим людей, а не скованные холодной красотой их подобию — статуи. Все опять просто и естественно вокруг нас, в этом первобытном хаосе разрушения и созидания, который мы называем средними веками. Люди говорят, а не произносят речи, воюют, а не совершают только подвиги; они несправедливы и жестоки, всегда грубы и никогда не гениальны — и, однако, мы непреодолимо привязываемся к ним,



заинтересовываемся в высшей степени их судьбой и, ничему не удивляясь, очень многое в них любим.

Если мы станем искать источник этой разницы, которую наблюдаем, не в степени только развития, но в самом сложении всей жизни, в самих чертах *лика человеческого* на протяжении полутысячелетия после падения античной цивилизации, то должны будем обратиться прежде всего к христианству. Из всех религий, какие знает история, христианство есть самая внутренняя, говорящая совести человека в уединении, т. е. она наиболее запечатлена *индивидуализмом*. В то время как даже Моисей давал заповеди целому народу, и к народу же обращены были увещания израильских пророков, Христос — и это впервые было в истории — обратился к одному человеку, к лицу: его беседы с Самарянкой и с Никодимом, его притчи, высказанные ученикам, все это уходит куда-то далеко, далеко от тревог окружающего мира и как будто даже от самой истории. Где-то в стороне от всего, что знали раньше люди и что занимало их, что они считали главным интересом своей души и главной целью существования своего, вскрылась иная цель, иной интерес; и история, которая долго шла мимо всего этого с шумом и треском, все иссякая и иссякая, все теряя силы, впала, как бы подсеченная в корне, в круг этих стоявших в стороне интересов и с тех пор идет вот уже второе тысячелетие силами, которые были заложены там и в тот миг. Эта особенная неистощимость, эта странная неувядаемость христианской цивилизации вся вытекает из того, к чему обратился Христос: как бы снимая с человека его оболочку, он раскрыл в истории его душу, которая постоянно до тех пор скрывалась за племенем, за государством, за общественной жизнью и общепринятыми обычаями, — и судьбу души этой в ее падениях и просветлениях сделал всемирной историей, которая, конечно, стала так же вечна и неувядаема, как неувядаема в вечных возрождениях своих человеческая совесть.

Личность стала поэтому центром новой истории, как прежде центром таким была городская или родовая община. Там, за пределами государства, все тусклее становилось то, что непосредственно примыкало к человеку, и, наконец, он сам — совершенно неясный образ, только менее или более удачный носитель общих черт и общих же интересов, которые налагались на него государством. Напротив, самым ясным и самым твердым теперь становится именно то, что непосредственно следует за внутренним миром человеческой души, что им согревается и его освещает, — *семья*. После религии, после отношения к Богу, первой святыне средних веков, — вторую святыню становится

семейный круг. Классическое «с ним или на нем», которое обратила спартанка к рожденному от нее воину, подавая щит, — не имеет никакого смысла в средние века; и, напротив, получили смысл уединенные молитвы, которые неустанно шлются за сына, где бы он ни был, что бы ни сделал, как бы ни был осуждаем всеми и даже действительно дурен. Все переменяло характер от этого перемещения интересов человека: нет торжественных хоров, нет великолепия холодных процессий и всей скульптурности бытовых форм, как и изваянных характеров. Все ушло куда-то внутрь, за стены родного дома, к скрытому очагу, где человек живет, живет, не наблюдаемый более никем, и откуда он выходит с лицом, осененным светом, который никогда не согревал античного мира. Оттуда, из этой скрытой от всех уединенной жизни, выходит новая поэзия и новая философия, которая так много сказала человеческому сердцу и так многому научила человеческий ум.

Понятно видоизменение общественных и политических форм, которое все текло отсюда: государство уже не прилегает более непосредственно к человеку, оно удалено от него и даже не так строго необходимо. Только неприятное соседство грубых народов, всегда готовых напасть и разорить страну, да неизбежность присутствия злых людей и безродных бродяг в недрах самого общества заставляют отрывать каждого свое внимание от семьи и часть его посвящать той внешней оболочке над всеми, которую мы называем государством. Таким образом, отношение к нему в новой истории становится внешним и холодным, вынужденным; тогда как в древнем мире оно было внутренним и интимным, ему одному отдавалась несдержанная страсть. С этим изменением отношения к политической форме изменилось и отношение к ее элементам: монархия есть естественная форма христианского государства, как республика — античного, языческого. Общий интерес, дела, касающиеся всех, каждое *res publica* — есть только бремя, которое никто теперь не хочет взять на себя и в которое чтобы вникнуть только — нужно забыть на время самые дорогие и близкие интересы, пренебречь тем, с чем слита жизнь. Тот, кто берет на себя это бремя, кто за каждым сохраняет самое драгоценное для него, уединение и заботы о близких, каждому — оказывает благодеяние, которого он не получает даже от друга. Отсюда — взгляд на царскую власть, как на источник благодеяния, поэзия и любовь, которою она окружена. В античном мире ставший один над всеми, даже когда он для всех благодетель, есть *tyranno*, похититель власти, всех и каждого враг; в новом мире — это заботливый устроитель общих дел,

охранитель над всеми, который отказался от лучших даров счастья, чтобы за каждым сохранить его дары. Его личность неприкосновенна, почти свята, его характеру удивляются, хотят знать его частную жизнь, которую любят, почти как собственную. Рассказы о Теодолинде, легенды о Карле Великом или об Альфреде Английском<sup>14</sup>, все эти трогательные чувства и воспоминания, обращенные к государю и его памяти, — как далеко отошли они от образов Тиберия, Дионисия Сиракузского или хитрого и жадного к власти Пизистрата и двух сыновей его. Мы говорим не о разнице, которая была между этими людьми, но о разнице чувств, которыми они окружены были, с которыми их встретили на троне и проводили в могилу. А чувства эти, вся психическая атмосфера, которою дышит человек, на которого обращены миллионы глаз, по неистребимой связности каждого в роде людском со всеми, ранее или позже налагают свою печать на его духовный образ, дела и тайные мысли, конечно с индивидуальными изменениями; но каждый становится тем, что от него ожидают, и это не менее тогда, когда он отвечает на ненависть ненавистью, чем когда на привязанность — любовью. Но в средние века (и вообще в христианской истории) даже и положительно слабые государи, не успевшие ни устроить подданных, ни защитить их, пользовались, однако, их добрым чувством: о его несчастиях на войне, о его падении с престола вспоминали с большим участием, чем даже и о собственных бедах, о разорении целой страны, — факты, неизвестные в античном мире, непонятные в Риме, в Афинах, в Спарте (судьба Цезаря, подозрительное отношение даже к Периклу). Отсюда — слияние всей новой истории с личной историей государей, с рассказами о судьбах династий, как в древности — слияние ее с форумом, с ἀγορά<sup>15</sup>, сенатом — экклесией. Замечательно, что до последних десятилетий нашего века это не понималось как ошибка, не чувствовалось тут какой-либо неправды: Мишле и Маколей одинаково писали свою историю. И в том, что никто не чувствовал здесь чего-либо ложного, находится оправдание и объяснение гордых слов о себе нового государя: «Государство — это я». В совершенно строгом смысле слова это мог применить к себе и самый скромный из предшественников Людовика XIV: в Европе после падения античного мира, еще от времен Хлодвига, Генриха-Птицелова и Альфреда Великого — государь, понятно, был носителем государства, т. е. совокупности общих забот о всяком деле, организатором всех этих дел, их начинателем и руководителем. Он был вождь на войне, организатор в мире, и когда еще оставался досуг от всего этого — личный досуг (Людовик IX), — учредитель форм быта, строитель

наук, литературы и искусства. Только уже позднее, в наше время, когда все стало изменяться, историками был придуман для слов Людовика XIV смысл, которого он вовсе не имел в виду, от которого он гордо и презрительно отказался бы как от недостаточного, если бы можно было как-нибудь объяснить ему этот смысл.

И второстепенные подробности политического сложения христианских народов также вытекают все из начала индивидуальности, обращения человека внутрь себя, которое принесла миру новая религия. Руководительство общими делами в античном мире поручалось по доверию некоторым и было в каждом отдельном случае как бы добровольным сложением власти многих на одного: это высокое право — принять хоть временно на себя власть других — приобреталось не только выдающимися достоинствами в частности, но и общим постоянным несением на себе бремени большего, нежели какое несли другие. Отсюда разделение граждан на классы в Риме, в Афинах и несение почти всего бремени налогов теми, которые могли быть избираемы на государственные должности: за право получить власть от бедных богатые принимали уплату повинностей за них. И они несли также и всю тяжесть военной службы, что было, впрочем, лишь самую общую и для каждого отдельного лица низшую форму государственной власти: правом, которое принималось от народа войском. Безвозмездность всякого государственного служения и простое выражение признательности за государственные услуги, лавровый или дубовый венок, наконец — триумф, это все естественно вытекало из античного взгляда на государство, из чрезмерной близости к нему, к его идее и выражению всякого живого индивидуума. И все это стало непонятно и невозможно в новом мире: как только центр жизни, внимания и забот переместился в частную жизнь, для общей можно было найти служителей только за особые выгоды, им предоставляемые сравнительно с прочими. Там эта служба покупалась как право, здесь она оплачивалась как обязанность. Отсюда вытекали два великих последствия: перемещение государственных тягостей сверху вниз и развитие бюрократической системы управления взамен древней, по поручительству. И в самом деле, с торжеством христианства и как бы вопреки его светлым заветам мы видим, что повсюду, и даже до наших времен, бремя уплаты государственных повинностей, как и линейной службы в войсках, всею тягостью своею лежит по преимуществу на крестьянстве и мелких горожанах, из которых не выходят люди, пекущиеся о государстве; и от этой тяжести свободны, совсем или отчасти, классы

обеспеченные и свободные: *ubi eumentum — ibi emolumentum*<sup>16</sup>. Эта правовая формула античного мира читается в новом наоборот. Нужна была особенно сильная и постоянно действующая причина, которая в силах была бы породить столь общий факт, столь резкое отклонение от самой основы христианства. И эта причина лежит в том, что именно вследствие христианства государство так далеко отодвинулось от индивидуума: для церкви или по предписанию нравственного долга он может взять на себя тяжелое бремя, может посвятить всю свою жизнь заботе о ближнем, о неимущих, о страждущих. И факты заботы этой, неизвестные в древности, продолжают до наших времен вот уже девятнадцать веков. Но для государства, для совершения действий, *индивидуально никому не нужных*, что может заставить христианина отнимать заботы от своей семьи и иногда даже от церкви о своем личном загробном спасении? Ради чего он погрузится в весь этот мелочный, неприятный и часто нечистый водоворот текущих или особых дел, где так часто нужно притеснить или наказать, подчиниться слепо или гневно приказать? Для его свободной души, которая хотела бы жить только с Богом, с подателем жизни и грозным судьей, перед которым она должна давать отчет не только за одну свою душу, но и за детей своих, — для него оставить эти высокие и чистые заботы для разбирательства вздорных дел между дурными людьми, для вымогательства подати с последнего бедняка было нечто отвратительное и тягостное. Вот почему вплоть до начала XV века, когда во всей Европе совершился великий упадок религиозных чувств, самое возникновение отчетливо организованного государства было невозможно. Только с этого времени взамен феодального строя, где вовсе не было этой удушливо-грязной административности, возникает государство с все приближающимися к этому типу формами. Но одна общая черта сохраняется как в феодальном, так и в новом государстве: та общая сословная масса, из которой выходят оберегатели общих интересов, будет ли то воин или чиновник, в шлеме или в мундире, эта масса, одинаково во все эпохи, религиозные и атеистические, просвещенные и грубые, свободна от денежных и всяких физических повинностей; кроме одной: обязанности давать из себя людей, пекущихся об общем благе, как внешнем, так и внутреннем. С тою разницей, повторяем, что в феодальном строе это обязательное попечение было более свободно по форме, строго индивидуально по выражению, — что вполне согласовалось с религиозным духом эпохи: рыцарь — повсюду член феодальной иерархии, в своем районе был оберегателем справедливости и свободы, действующим по своему по-

буждению, лишь в слабой зависимости от сюзерена, и притом по преимуществу в отношении к частным людям; что все и производило тогда какую-то чудную смесь личной инициативы всюду — с громадной массивностью народных масс, уже вступивших в историю, и начал религиозно-нравственных — с политическими.

По мере того как из хаоса феодальных отношений возникало новое государство, эта независимость в проявлении забот обо всех стала уступать место принудительности и безличности: возникла бюрократия — как посредствующее звено между государем и страной, как орудие деятельности первого, — которая могла бы достать всюду и коснуться всего. В силу той безынтересности государства для каждого индивидуума, о которой мы говорили как о характерной черте новых времен, орудия деятельности этой, т. е. звенья бюрократической системы, могли быть привлечены к деятельности на общую пользу не иначе как платою. Отсюда — оплаченный чиновник как непременная принадлежность нового государства, будет ли то монархическая Австрия или республика Соединенных Штатов. Всюду за те заботы, которые отнимает он от семьи своей, чтобы передать их безличным и далеким для него массам людей, он требует и получает особенные выгоды, которые передает своей семье. С возникновением бюрократии, набираемой из всех классов, куда идут, по выше объясненным причинам, лишь наиболее грубые элементы общества, наименее ценящие себя и в себе — все высокочеловечное, самое существование особых облегченных классов утратило всякое основание: они опустились туда, где всегда лежало бремя государственных тягостей, сохраняя одно лишь преимущество — избыток материальных средств. Безличная, нерасчлененная масса народа и управляющий класс над нею как единственное и новое сословие есть общая черта государств современного типа. Но купленная забота всегда обращена к тому, кто ее купил, а не к тому, для кого она куплена. Отсюда — развитие в новом государстве наружной стороны деятельности, отсутствие на периферии его, в последних звеньях системы, какой-либо жизни, устремленности, достижения, и так как лишь этою периферией система касается реальных явлений текущей истории, то отсюда же вытекло вечное убегание этой истории от руководства системы, которая напряженно силится из центра овладеть ею, но не может. Изощрение и изощрение контроля, прибавка к сделанной уплате (жалованье), обещания прибавить еще (награды, повышения, знаки отличия) — все это есть ряд усилий, делаемых из центра для того, чтобы передать свою жизнь и устремленность далеким перифериям, не знающим и не хотящим, *не чув-*

*ствующим* в самих себе каких-либо целей. Таким образом, за безучастием в новом государстве хороших сторон человеческой природы, является печальная и сознанная необходимость действовать, возбуждая их, на дурные: на чувство робости в человеке, на его алчность, на какое-то иллюзорное тщеславие. Но, как само собою ясно, не задевая сущности дела, все эти средства были и останутся бесплодны: какая бы цель для деятельности ни была поставлена и какая бы награда возле нее ни стояла, внимание достигающего ее в новом государстве неизменно будет направлено на того, кто поставил ее и держит награду, а не туда, где стоит она и чего должна коснуться ее деятельность. Безжизненность, глубокое бессилие есть неизменная черта новых политических тел, возникших повсюду в Европе с конца XV века, и вытекающая из самой психической структуры их. При этом мы говорим, конечно, о норме, а не об исключениях: но рвение, но героизм, но подвиг для родного города в античном мире был нормою, а равнодушие — исключением. В христианском мире, где государство есть второстепенное для человека, а не первое, это стало наоборот — при всех формах правления, при всех степенях образования, в века минувшей истории и ожидаемой.

В целях удобства, возможности какого-нибудь действия это управление не могло не приобрести всюду одного вида: всеоживляющий центр и пробегаящая от него деятельность, которая, распределяясь по бесчисленным нитям все утончающейся администрации, завязывается на оконечности их с фактами реальной жизни, силясь овладеть этими фактами. Восхождение движения обратно к центру от фактов хотя, возможно, и есть, но всюду затруднено, как бы мешая главному движению. Некоторая абстрактность жизни в центре, абстрактность идей его и даже страстей и затруднительность движения для фактов на периферии системы, где они проскользают сквозь редкую уже и слабую сеть административной паутины и текут по своему особому руслу, никем не направляемому, — вот общая картина этой системы, почти без видоизменений установившейся во всей Европе. Ей отвечает повсюду картина самой территории европейских государств, которые, как остов нервную систему, облакают эту администрацию и вполне повинуются ей, ее внутреннему закону в своих нынешних чертах: уторопленная жизнь в центре каждого подобного государства, и притом жизнь крайне абстрактная, без ярко выпуклых особенностей, которые были бы наложены историей, национальностью, ее особыми бытовыми условиями и даже климатом. Все столицы Европы становятся чем далее, тем более схожи между собою, как фотографии, снятые с одного лица. И

до самой периферии, начиная от этих центров, всюду поблеклая жизнь, медленно движущаяся, без какого-либо значительного интереса к себе для наблюдателя, без какого-либо счастья, кроме покоя, без других забот, кроме насущного пропитания. Все высшие интересы, тревоги, замыслы сосредоточиваются в центре, лихорадочно деятельном, ни на минуту не успокаивающемся; и это беспокойство есть самая главная печать, налагаемая этими центрами на высшие интересы человеческого существования, сюда стянувшиеся.

Таковы резкие, бьющие в глаза особенности новой истории, вытекшие все из незаметного уклона, который получило девятнадцать веков назад развитие человеческого духа в новой религии. С этого времени, повинувшись этому уклону, все дела человеческие текут в сторону, диаметрально противоположную той, куда они двигались ранее, в античном мире. Нам остается добавить еще немного слов, чтобы закончить картину этой истории, и именно — выяснив особый характер, какой имеет здесь участие собственно-народных масс в государственной жизни.

Древнему миру вовсе неизвестна была противоположность между государством и обществом: в Спарте, в Афинах или в Риме общество, т. е. совокупность граждан, было вечно деятельным носителем задач, форм и традиций государства. И кто враг был этому государству или что клонилось к его ущербу, был враг и обществу этому, его интересам. От этого борьба там всегда была борьбою в пределах самого государства, одного элемента его против других, т. е. она носила строго внутренний характер, была вполне законна, и ее влияние на развитие государства всегда было плодотворно. Напротив, в новой истории, с возникновением христианской семьи, со строгим и возвышенным развитием церкви, общество отделилось от государства и вообще история его не укладывается в историю политическую и не всегда даже совпадает с ней в своем течении: бывали моменты, и их всегда можно ожидать в будущем, когда принципы, задачи и вся установившаяся практика государства вызывала строгую критику и даже осуждение со стороны общества, — факт, неизвестный в летописях истории до появления христианства. В античном обществе, слитом с государством, только к концу его, с возникновением философии, могли появиться в ее особых понятиях опорные пункты для критического отношения к политической практике. И это еще раз, но с новой стороны, показывает, как мало гармонировали Академия, Лицей и Стоя<sup>17</sup> с Акрополем и Форумом, со всей этой светлой, связанной, в высшей степени цельной жизнью; и насколько сказался в их возникновении скры-



тый перелом истории к чему-то новому, совершенно отличному от прежнего. Но философские понятия никогда не могут быть достоянием многих, и изгнание Анаксагора, смерть Сократа, добровольное удаление из Афин Аристотеля были несложными фактами, в которых выразилось это разъединение личности и государства. Напротив, с появлением христианства этот факт стал всеобщим и постоянным: в заветах Евангелия, в пробужденных тревогах своей совести всякий имел постоянный критерий, который он не колеблясь применял и ко всякому поступку своему, и к каждому государственному акту, которого был зрителем. Слитность между индивидуумом и политическим строем стала более невозможной: стала возможна особая история общества и всего того, что из него свободно выросло: религиозных движений, искусства, науки и философии. Все это, развиваясь вне воздействия государства и будучи дорого человеку не менее, чем оно, открывало новые и новые точки опоры для индивидуального суждения, для общественной критики государственной деятельности. И мы видели нередко в истории Европы моменты, когда государство с сетью развившихся в нем учреждений и общество с великим духовным миром, им созданным, становились друг против друга, чтобы победить или умереть. Таков был, между прочим, смысл Французской революции, столь враждебной христианству и, однако, возможной только в христианской стране, — по своему основанию, по точке опоры, какой она никогда не получила бы для себя в языческой стране\*.

Но здесь общество и государство стояли друг против друга; разъединены же и обособлены они были постоянно в новой истории. Этим объясняется особый характер как важнейших, чисто европейских законодательств (т. е. возникших без участия римского права и не на романизованной почве), так и характер в новой истории представительных собраний. «Magna charta libertatum», «Habeas corpus», «Билль о правах»<sup>18</sup>, — эти знаменитые юридические акты все имеют одну цель: охранить личность от посягательств государства, провести вокруг каждого черту, за которой с семьей своей, со своими высшими духовными интересами он как бы не чувствовал государства и его ежеминутной деятельности. Таким образом, печать глубокого индивидуализма лежит на этих государственных актах — в противоположность античному миру, где всякий государственный акт расширял

\* Сравни судьбу Тиберия и Кая Гракхов, боровшихся за ясные для всех материальные интересы, с судьбой Мирабо и последующих вождей революции, боровшихся за гораздо более отвлеченные принципы.

сферу общей деятельности (*res publica*) на счет индивидуальной свободы. И далее (в глубокой аналогии со всем сказанным), тогда как в древнем мире всякое представительное собрание (сенат, комиции, буле и экклесия, герусия<sup>19</sup>) имело характер, ведущий историю, в новой истории всякое подобное собрание имело характер, только ограничивающий это ведение или в нем участвующий. Вначале, когда государь стоял один над народом и еще не имел вокруг себя сложной администрации, через которую мог бы действовать, он созывал лучших людей из подвластного народа в помощь себе, для совета или содействия. И понятно, что собрания эти всюду прекратились, заменяясь более деятельною и удобною администрацией. В одной Англии, где не возникло бюрократии, эти собрания сохранились благодаря ряду дурных королей, которых, представляя собою общество, они стали ограничивать. Но в высшей степени замечательно, что где бы ни возникали подобные собрания и в позднейшее время, они всюду имеют тот же ограничивающий характер, выражают критику стоящего в стороне общества, но не его деятельность. Так сделался удален со времен христианства мир индивидуальных желаний и даже мыслей от общего интереса всех, что, собираясь даже во имя этого интереса, отдельные личности не могут найти способа *осуществлять* его, но лишь смотрят и критикуют то, что перед ними осуществляется, — и это одинаково в республиках, как и в *ограниченных* монархиях. Поэтому, в строгом смысле, *rei publicae* не существует в Европе и не может существовать; есть только монархии, но местами такие, где власть монарха, его скипетр, держится многими руками, скрытыми за спиною остальных необозримых народных масс, которые покорны и безучастны к власти столько же, как и в монархиях незатемненных. Венец царский не сорван нигде, но он разорван на лепестки, которые, однако, сияют на головах нескольких людей, — для большего удобства, говорят они, народа, которому, однако, представляется лишь смотреть на это, бессильно желать этого, вечно завидовать и умирать с чувствами, каких он не имел прежде.

Таковы различия в политическом сложении древнего государства и всех новых. В бессмертной формуле своей Аристотель выразил сущность первого: ἄνθρωπος ζῶων πολιτικόν ἐστίν<sup>20</sup>, — сказал он, думая о современном ему мире, высказывая то, как этот мир чувствовал себя. Величие, поразительная красота, обилие жизненности в государстве и гражданине было простым следствием только этого факта. Был удивительный период в истории, когда человек не только ощущал, но и дышал, но и мыслил, но и желал только внешними покровами своего существа, —

подобно тем странным, еще не развитым животным, которые живут только кожей. И этот период окончился навсегда, как только принесено было на землю Евангелие. С ним и через него вырос внутренний человек, вскрылось глубокое содержание его природы, вовсе не укладывающееся в рамки какой-либо политической формы или деятельности. Человек не хочет и не может быть только гражданином; он уже давно сперва христианин, потом отец семьи, на котором лежит высшая ответственность, наконец — он художник или мыслитель и уже после всего этого гражданин. Но с тем прекрасным и до сих пор не померкающим светом, каким озарилась в силу этой перемены история, неотделимо некоторое и искажение государства: нет прежней красоты в его формах, более безжизненно оно, узко и как-то несимпатично. Всего этого переменить нельзя и не следует. И не подавляя остальное все, как это было в древности, но, напротив, примыкая ко всему, что выросло в новых обществах из христианства, проникаясь началами религиозными, семейными, всюду будя в себе внутренний смысл, а не устанавливая внешние формы, новое государство может достигнуть высших проявлений своего типа — менее красивых, чем античные, но гораздо более дорогих человеку и, быть может, более его достойных\*.

---

\* Нам могут заметить, что 1) зародыши централизации и бюрократии появились еще в языческой Римской империи и 2) что в некоторые эпохи новой истории у тех или иных народов отсутствовали черты этой бюрократии и централизации. На это ответим, что 1) насколько уже в языческом мире (однако не ранее появления христианства) стало подготовляться выясненное нами политическое сложение, в нем, в этом факте, с новой стороны обнаружилось подготавливание к принятию христианства: формы перерождались в направлении, строго отвечающем характеру содержания, которое только подготавливалось в это время на дальнем Востоке. Замечательно, однако, что окончательное установление централизации и бюрократии произошло в Риме лишь при Константине Великом, при котором и новая религия от потаенных путей перешла к ясному выражению себя в истории. 2) Из новых народов у всех и во все эпохи есть более или менее выраженный уклон в указанную сторону; но, скользя по этому уклону, многие из них задерживались в движении своим разными историческими обстоятельствами. Во всяком случае, в каждом единичном народе последующая фаза развития всегда была обильнее, чем ей предшествующая, общими чертами бюрократизма и централизации (сравни, напр<имер>, Испанию при Карле V и Филиппе II); и по истечении достаточного времени все страны Европы приняли вид, нами очерченный. Но (и это главное), имея задачу высказать лишь схему нового государства, мы указали, что отдельные черты этой схемы должны корениться в особенностях

## VIII

В пределах этого общеевропейского типа жизнь единичных, сколько-нибудь значительных народов новой истории приняла своеобразное выражение. Мы приведем здесь слова г. К. Леонтьева, хотя и кратко, но ясно и справедливо указывающие важнейшие из этих оттенков:

«Италия, возросшая на развалинах Рима, — говорит он, — около эпохи Возрождения и раньше всех других европейских государств выработала свою государственную форму *в виде двух самых крайних антитез — с одной стороны, высшую централизацию в виде государственного папства, объединявшего весь католический мир далеко вне пределов Италии, с другой же — для самой себя, для Италии собственно, форму крайне децентрализованную, муниципально-аристократических малых государств*, которые постоянно колебались между олигархией (Венеция и Генуя) и монархией (Неаполь, Тоскана и т. д.).

Государственная форма, прирожденная Испании, стала ясна несколько позднее. Это была *монархия самодержавная и аристократическая, но провинциально мало сосредоточенная, снабженная местными и отчасти сословными вольностями и привилегиями*, — нечто среднее между Италией и Францией. Эпоха Карла V и Филиппа II есть эпоха цвета этой политической формы.

Государственная форма, свойственная Франции, *была в высшей степени централизованная, крайне сословная, но самодержавная монархия*. Эта форма выяснилась постепенно при Людовике XI, Франциске I, Ришелье и Людовике XIV; исказилась она в 89-м году.

Государственная форма Англии была (и отчасти есть до сих пор) *ограниченная, менее Франции вначале сословная, децентрализованная монархия*, или, как другие говорят, аристократическая республика с наследственным президентом. Эта форма выразилась почти одновременно с французской при Генрихе VIII, Елисавете и Вильгельме Оранском.

Государственная форма Германии была (до Наполеона I и до годов 48-го и 71-го) следующая: *союз государств небольших, отдельных, сословных, более или менее самодержавных, с избран-*

---

духовного сложения новых народов; а это последнее возникло главным образом из христианства, в котором именно индивидуализм и субъективность могли дать основу для особого строя общественной и государственной организации.

ным императором-сюзереном (не муниципального, а феодального происхождения)» \*.

Нельзя отрицать, что эти формы государственного сложения типичны для перечисленных народов и что ни одна из них не была присуща какому-либо другому народу, кроме одного указанного. В своем роде они столь же характерны, как, напр<и-мер>, дорическая и ионийская формы для отдельных государств Древней Греции.

Приблизительно с половины XVIII века все эти формы постепенно выяснялись; во многих выяснение это продолжалось и в XIX веке. Одновременно с этим процессом установления *внешнего разнообразия* происходило и возрастание *внутреннего духовного творчества* европейских народов. Век Возрождения в Италии совпал с наиболее полным развитием католицизма и с наибольшим расслаблением собственно Италии накануне отпадения Лютера и внешнего порабощения французами и германцами. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль и, с другой стороны, Козимо и Лоренцо Медичи<sup>21</sup>, папы: Николай V, Юлий II и Лев X сошли или сходили еще только в могилу, когда по ту сторону Альп раздались негодующие крики реформы, а Франциск I и Карл V набирали союзников для борьбы за прекрасную страну, которую они залили скоро кровью. Ни культурно в духовном отношении, ни политически в смысле дальнейшего выяснения своей особой формы Италия ничего не произвела в последующие века. Процесс, наступивший для нее, чуждый каких-либо бурных переломов, г. Леонтьев характерно и справедливо сравнивает с *медленным высыханием*, какое мы наблюдаем во всяком дереве, принесшем свой плод.

В Испании за высшим расцветом политической формы, отчасти совпадая, отчасти немедленно за ним следуя, наступил также высший расцвет духовного творчества: Лопе де Вега, Кальдерон и Сервантес в сфере поэзии, Веласкес и Мурильо в сфере живописи как бы окружают собою замечательную личность Филиппа II, в котором гений испанского народа отпечатлелся с такою несравненною яркостью. И здесь, за этим резким обособлением в форме, за ярким сиянием внутреннего содержания нации наступил тот же процесс медленного истощения сил и внешнего упадка, какой мы отметили уже для Италии.

Во Франции век Людовика XIV есть центр, около которого группируются, подготавливая его или расшатывая, великие министры Ришелье и Мазарини, короли Людовик XV и Людовик XVI.

\* «Восток, Россия и славянство». Т. I. С. 150.

Именно это время, обнимающее с небольшим столетие, было временем высшего расцвета духовных сил французского народа: между Декартом и Кондорсе, между Паскалем и Фернейским мудрецом<sup>22</sup> здесь проходит ряд поэтов, ораторов, великих трагиков и мыслителей, которые заставили в течение почти двух веков преклоняться всех перед умственным превосходством Франции. Сильное умственное движение здесь в первую половину XIX века должно быть отделяемо от предыдущего по корням своим: оно связано исключительно с революцией, о значении которой будет сказано ниже.

В Англии век Елизаветы был одновременно и веком Шекспира, эпоха Стюартов — временем Бэкона и Мильтона, а царствование Оранской и Ганноверской династий — когда, собственно, и получило свое полное развитие парламентское правление — было временем Локка, Ньютона и Адама Смита, а с другой стороны, таких поэтов, как Аддисон, де Фозэ, Свифт, Поп и др. По некоторым причинам особенная форма политического сложения Англии удержалась долее в своей цельности и самобытности, нежели в других странах Европы; и в соответствии этому долее, нежели в других странах, в ней продолжался высокий расцвет духовных сил. Байрона можно и следует рассматривать как завершителя высокой самобытности английского гения, уже полного предчувствием последующего падения, уже с отвращением и ужасом ощущавшего приближение эпохи, когда погаснет великий гений и все ярко выразительное, индивидуальное в лице европейского человечества. В другом роде и теснее примыкая к родине, писал его современник Вальтер Скотт: как тот почувствовал с ненавистью будущее, так этот обратился с любовью к прошлому и стал Плутархом Англии и всей старой Европы, любящим собирателем ее легенд, преданий, историй. Теккереи и Диккенс стоят уже на рубеже новой Англии, оба равно исполненные чувства действительности, но без какой-либо способности отнестись к ней положительно или с увлечением.

Наконец, если мы обратимся к Германии, то найдем в ней два момента высокого подъема умственных сил: век гуманизма, с Эразмом и Ульрихом фон Гутенбергом<sup>23</sup> в центре, и век оригинальной, гуманной образованности, который обнимает собою вторую половину XVIII и первую — XIX века, с Шиллером и Гете, с Кантом, братьями Гумбольдтами<sup>24</sup> и Нибуром<sup>25</sup> в центре. Человек как предмет внимания и изучения в его духовном содержании и историческом развитии — вот особенная сфера созерцания и воплощения, которую открыл германский гений для остального человечества. И наибольшая яркость как этого изу-

чения, так и этого воплощения относится к эпохам великих коллизий между империей и княжествами, когда ни первая не поглощала собою вторые, ни эти последние не утрачивали, разрушая империю, всякую связь между собою и сознание единства.

## IX

Прежде нежели перейти к указанию на то, что за всем этим наступило для Европы, мы остановимся на глубоких соображениях г. К. Леонтьева о приблизительной долговечности национально-политических организмов в истории.

Нет сомнения, в процессе возрастания и падения государств есть столько темного, необъяснимого пока для науки, что всякая попытка подойти к этому вопросу с догматическими утверждениями, со слишком точными мерками, должна быть признана преждевременною. Но также нет сомнения, что, насколько все государства суть действительно возрастающие организмы, к ним приложима общая истина об умирании всего органического — и притом умирании через известный срок, далее которого жизнь не может тянуться. Все развивающееся — развивается *во что-нибудь*, и раз это «что-нибудь» осуществлено, есть — наступает предел для существования того, что его осуществляло собою. Таким образом, ни в смерти государств, ни в продолжительности их жизни нет никакой игры случая и с тем вместе нет безграничного разнообразия: есть норма, есть грань для всего этого, до которой не дорасти можно по каким-либо историческим обстоятельствам, но за которую *перерости* невозможно ни для какого народа. Есть *мера жизни*, отпущенная для всего живого: для растения, для животного, для человека и также для вида, породы и, наконец, для нации.

Но самая жизнь здесь является под тремя формами: культуры, собственно народности и, наконец, государства. Первая как существование в истории самих продуктов народного творчества — бытового, умственного и художественного содержания — бывает неизмеримо продолжительнее, чем существование народа. И причина этого понятна: все эти продукты ясно содержат в себе неразрушимое идеалистическое зерно, около которого удерживается и многое такое, что само по себе незначуще и непрочное, но в связи с зерном этим, никогда не сгнивающим, продолжает существовать неопределенно долгое время. Тот или иной навык, тот или иной склад жизни может обладать пластической красотой — и он перенимается другими народами, распростра-

няется и продолжает жить, когда сам народ, его выработавший, уже давно исчез. Еще более обеспечено существование культуры, когда она богата началами философскими, научными, поэтическими, религиозными. Элементы Эвклида<sup>26</sup>, какое-нибудь правовое понятие Рима, наконец рисунок Рафаэля или монолог из «Гамлета» — это в своем роде вечно неразрушимые вещи, которые не перестанут существовать в человечестве, пока существует, понимает, любит и наслаждается кто-нибудь в нем. А с этими неразрушимыми вещами останется и множество подробностей, которые лежали в характере и в быте народа, из души которого все это выросло.

В этом смысле можно сказать, что ни одна из исторических культур не погибла окончательно; но элементы всех их рассеяно живут в нашем образовании, в нашем быте и, без сомнения, через все это — в складе нашей души. Нет более Финикии, но есть финикийский способ закрепления на бумаге своих мыслей; песок пустыни покрыл древнюю Ниневию и Вавилон, а сравнения, а обороты речи, произнесенные там тысячелетия назад, мелькают еще иногда и в нашей речи — явление удивительное, если в него вдуматься глубже. Умерли города, народы, великие царства, а сильное и прекрасное движение души человеческой, закрепленное в слове, по-видимому исчезнувшее, как только замолк его звук, вечно возрожденное, добежало до нас, и мы его любим, им трогаемся, как и неизвестные лица, его впервые произнесшие.

Менее продолжительно, но все-таки очень долговечно бывает существование народностей как простой этнографической массы, как неопределенного субстрата, из которого выделяется и вековая культура как высший цвет его, как его ароматическое дыхание в истории, и государство как внешняя его форма, как наружное самоопределение. Этот физический субстрат истории существует неопределенное число веков до ее начала и по ее окончании, после разрушения государственной формы, остается если не навсегда среди других народностей, то на очень долгое время. Такова судьба греков под Римом и Турцией или западных славян в Германии. Эти и подобные народности, которые скорее рассеиваются, нежели внутренне тают, напоминают пепел сгоревшего здания, над которым воздвигнуто новое, незаметный, но существующий, однако, не всегда же. Когда именно и как они исчезают окончательно, этого нельзя сказать, хотя по истечении достаточного времени никаких следов их не остается, — как не осталось никаких следов от древних этрусков, от греческого населения в южной Италии, от ассирийцев и финикийцев.



Наконец, наименьшею продолжительностью отличается существование государств, этой внешней оболочки и внутренней ткани, которая проникает собою этнографический субстрат, делаю его особым, ни с кем не сливающимся существом среди других народов истории. В государстве выражается индивидуальность наций, которые, пока живут политической жизнью — существуют для себя и через себя и во всех других отношениях, и как только лишаются ее — становятся простым материалом для посторонней жизни, своею плотью и кровью выражают уже чужое лицо в истории.

К. Н. Леонтьев делает обзор всех известных исчезнувших в истории государств и находит, что они вообще не переживали более 12 веков\*. Громадное большинство государств прожило менее, но до этого срока дотянули самые долговечные национально-политические организмы: Ассирийское (около 1200 лет), Древне- и Ново-Персидское (1262 года, до падения самостоятельности и религии при покорении арабами), Эллино-Македонское (около 1170 лет, считая с царствами сирийских Селевкидов и египетских Птолемеев), наконец — Византийское (1128 лет) и Римское (1229 лет), Последнее может служить типическим образцом нормально развившейся и умершей государственности в истории, и время его жизни является как бы гранью вообще долгомерности политических тел.

Нет сомнения, во всем этом есть много гипотетического, но гипотетического лишь по недостатку внутренних объясняющих причин, а не по недостоверности самого факта. Что заставляет политические организмы, переступившие известную грань возраста, дряхлеть — этого мы не знаем; но признаки этой дряхлости для наблюдателя очевидны: она сказывается в падении всех государств, в этом чудном почти несопротивлении внешним разрушающим условиям, какое мы наблюдаем в них перед смертью. Члены не только недейтельны, бессильны, но — и это самое важное — нет воли, нет энергии сильно пожелать не умереть. «Граждане Трира, уже четыре раза разрушенного, спокойно наслаждались в цирке, когда стены их города дрожали под уда-

---

\* Он при этом справедливо выделяет из своего обзора древний Египет и современный Китай, видя в них скорее своеобразные и замкнутые культурные миры, нежели собственно государства. Неосновательность считать их только государствами видна из того, что, например, Египет имел несколько преемственно сменявшихся средоточий своей жизни (Мемфис, Фивы, Саис) и его история, по крайней мере раз, была прервана на целых четыре столетия (нашествие и владычество азиатского племени гикс<ос>ов).

рами таранов», — говорит один современник падения Западной империи; Гонорий, когда самый Рим был осажден вестготами, удалившись в Равенну, спокойно забавлялся любимым петухом, которому тоже дал название «Рим», и при известии о гибели первого только испугался за второго. Ясно, что не в учреждениях, не в законах, не в территории, вообще не во внешних выражениях государства, но в самих людях, стоящих при законе, охраняющих территорию в этой психической атмосфере, которою дышит каждый в государстве и ею укрепляется или ослабляется, лежит уже тление смерти, и она не оживляет народных масс, которые становятся точно сонными, Выродившаяся литература, холодная безрелигиозность, вычурный стиль в архитектуре, напряженная придуманность во всем, что прежде било ключом жизни, трепетало творчеством, — все эти уже внутренние симптомы ясно указывают, как много скрытой необходимости лежит в падении государств, как мало здесь случайного, предотвратимого. И если не одно какое-нибудь, но все государства пали, и пали гораздо раньше указанного выше срока жизни, то не имеем ли мы в самом деле основания думать, что *где-то около этого срока* лежит действительно идеальная мера, отпущенная по неизвестным нам законам для исторического существования народов. Это — знание эмпирическое, но так <ое> же, как и то, что долее двух столетий жизнь ни одного теплокровного животного почему-то не продолжается.

## X

С этою биологическою мерой исторической жизни г. К. Леонтьев обращается к европейским государствам, чтобы определить приблизительно фазу их возрастов.

Теперь мы остановимся на минуту и соберем снова все мысли, так затянувшиеся при объяснении, чтобы вступить наконец в «святая святых» убеждений нашего автора.

*Все органические процессы представляют собою фазу сложности их и фазу разложения.*

*Первая определяется возрастанием сложности, вторая — ее разрушением, возвращением к простоте, слитности, однообразию (признаков, форм, проявлений).*

*У народов эта сложность при возрастании выражается в формировании сословий как горизонтального расчленения нации, в обособлении провинций как их вертикальном расчленении, при сдерживающем единстве национально-исторического сознания; это усложнение ткани сопровождается и усложнени-*

ем продуктов психического творчества: *высшим расцветом наук и искусств, поэзии и философии, где всякая идея, каждое произведение запечатлены глубоко индивидуальностью творца своего*. Все лично, своеобразно, напряжено от полноты сил — в быте, в манере повседневной жизни, как и в гениальном замысле. Все борется, но еще без уверенности победить; все сопротивляется, и с надеждой перейти к победе. Исход будущности от всего скрыт, и, порываясь к нему, все трепещет жизнью и блещет красотой. Такова картина апогея исторического развития, всегда и всюду одинаковая.

За ним начинается процесс обратный, открывается исход. Но прежде чем перейти к его картине, обратимся к прерванной нити рассуждения, к фазе возраста европейских государств.

Год Верденского договора, 843 г. от Р. Х., когда монархия Карла Великого распалась на Францию, Германию и Италию, — можно считать приблизительно моментом, когда отдельные политические тела Европы выделились из первоначальной общегерманской слитности \*. До этого времени мы наблюдаем формирование и падение государств и племен, ничего от себя не оставивших, как бы усилие органической массы сложиться в органические тела. Было брожение, но государственная жизнь еще не начиналась; было подготовление, но подготовленное еще не появлялось. Только с половины IX в. нации и государства уже более не сливаются и не разделяются, но остаются изолированными и непрерывно существующими до нашего времени, только с этого столетия притяжение внутрь, к своим средоточиям, берет окончательно перевес над стихийным движением туда и сюда, из которого ранее не могли выйти германские племена.

Заметим, что в 827 г., т. е. около того же времени, впервые возникла и Англия через слияние при короле Эгберте семи англосаксонских княжеств. Но зато образование в ней верхнего культурного слоя и королевской власти в ее позднейшем значении произошло спустя почти два века, при завоевании ее норманнами (1066 г.).

Из всех этих стран Европы Франция ранее и правильнее всех сформировалась в государство: в ней уже через сто с небольшим лет после Верденского договора появилась династия, которая пала только в конце прошлого века, связывая непрерывностью свою историю в прочную, нераздробленную, хорошо сконцентри-

---

\* Гизо в «Истории цивилизации Европы» принимает за начало государственности во Франции воцарение Гуго Капета (987—996), т. е. относит это начало еще позднее, чем г. К. Леонтьев.

рованную ветвь европейской цивилизации. Напротив, Германия и Италия еще по временам сливались между собою («Священная Римская империя»), и вообще история их гораздо менее правильна, начало государственной жизни — позднее, как позднее было в Германии и утверждение христианства (еще Карл Великий вел упорные войны против саксов-язычников).

Наконец, к этому же приблизительно столетию (собственно, к трем векам, VIII, IX и X) нужно отнести и начало собственно-западноевропейской культуры, в отличие от общей первоначально и Западу и Востоку культуры византийского христианства, когда слагались догматы, устанавливалась церковь, когда государственность в строгом смысле была лишь в пределах Эллино-Римской восточной империи, в царстве Юстиниана Великого и его преемников. В эту эпоху Византия уже клонилась к закату, а Запад, руководимый первосвященником из Рима, впервые и ясно выделился в своей особенности: разделение церквей уже ясно обозначалось, хотя они и удерживались от окончательного разрыва; католицизм в своих всемирных земных вождениях уже зародился; закладывались феодализм и рыцарство; и самое коронование Карла Великого императорскою короною было сделано на Западе и понято на Востоке как узурпация и перенесение императорского достоинства на новую почву, на далекий Запад, когда Восток обрекался гибели от арабов, от иконоборства и всяких ересей, от Бога и нового зарождавшегося человечества. С этих именно пор нити, связующие Запад и Восток, насильственно прерываются и каждый из них пошел своим путем.

Все сказанное вводит нас наконец в ясное уразумение своего XIX в., вскрывает источник его особенностей, движений, бродящих в нем мыслей и ползучих желаний.

Роковая грань тысячелетия (843—1843), за которое уже немного простиралась историческая жизнь самых долговечных народов, переступлена западною культурою. Не более двух веков остается за ней, куда еще дотягивалась судьба Рима, Византии, древней Ассиро-Вавилонской монархии и страны Зороастра<sup>27</sup>, — т. е. почти культурных миров, правда уступавших по сложности содержания *системе* европейских государств, но превосходящих по массивности, по оригинальности культуры каждое из этих государств в отдельности.

Франция древнее всех между этими государствами, и в ней первой открылся процесс, который затем разлился по лику всего европейского человечества: *обратный* *прежнему* *усложнению* — *процесс вторичного упрощения*.

Кто не знает энтузиазма, охватившего Францию <в> 1789 г. при вести, что король наконец уступает нации и собирает ее представителей; кто не перечитывал с чувством ужаса страницы истории Конвента о бурном клочкотании Террора, об этой борьбе *к чему-то новому возродившейся нации* с утратившими во все веру старыми монархиями?

И потом все, что отсюда вышло: появление удивительного гения, который точно перемесил ногами своими ветхий лик Европы, и она помолодела и окрепла, как никогда прежде, выйдя из тяжкого испытания, которому он подверг ее; ряд вспышек революций на Западе, как ряд подземных толчков, уже меньших, чем первый, но разрушительных в том же направлении, как и он; возвышение слепых народных масс, в бурных движениях своих ломающих феодальные перегородки, которые в них еще оставались.

И внутри гибкого, ничем не сдерживаемого тела этих масс — рост индустрии и техники, превращение в простую же технику государственного управления и войны, замена техникой же искусства и установление всюду чудовищных машин, к которым, как к каторжной тачке, прикованы нуждою миллионы, которые прежде молились, радовались, удивлялись мирозданию и покрывали его мечтой поэзии и вымысла, — теперь же трудятся, едят и, проклиная прошлое свое, ненавидя настоящее, ждут, как зари новой жизни, времени, когда к рядам их, уже многомиллионным, присоединятся еще бесчисленные миллионы остального человечества и оно все, в полном составе, будет дергать нужную нитку и вертеть нужное колесо и за это будет получать к обеду лишний фунт мяса, а к ночи матрац и одеяло, под которым наконец не холодно.

И среди их бесчисленных рядов — бродящие как тени люди с книжками и листками, которые им говорят о счастье этого труда, учат их восторгу перед этими машинами и шепчут о времени, когда к ним придут разделить это счастье и этот восторг и остальные народы, живущие пока бессмысленной жизнью. Они говорят, как переставят со временем ряды, какие им устроят удобные нары, как их будут кормить, — и что тот день, когда все это наступит, когда ни один человек не останется незанятым и ни один же — голодным, будет днем радости, в который утолятся человеческие желания.

Вот приблизительно тот связный процесс, который за столетие жизни совершился в Европе: тут и разрыв с прошлым, и

текущая действительность, и главное из всех желаний, проникающих современное человечество. Ясно, что в бурном порыве революции Европа сдернула с себя обнаженную и сморщенную шкуру какой-то стадии развития и явилась юною и свежеею — в более поздней его фазе.

Каков же смысл этой фазы, ее постоянный и повсюдный уклон, несмотря на разнообразие криков, надежд, желаний, которыми одушевляються люди? Что есть *безлично-общего* в том историческом процессе, в который вступила Европа с конца прошлого века?

*Только упрощение, только слияние форм, только исчезновение обособляющих признаков: в учреждениях, законах, в общественном быте, — в искусстве, философии, в человеческих характерах.*

Все люди стали подобны друг другу; все государства имеют приблизительно одну конституцию; они все одинаково воюют и управляются. Во всех городах все та же индустрия — и однообразный быт, ею налагаемый. Повсюду, во всех странах, для всех классов населения одинаковое обучение, по одним и тем же книжкам — о Пунических войнах, алгебраических количествах, о греческих флексиях и догматах христианства, равно безличное и бесцветное. Нет более одиноких вершин в философии и науке, есть их бесчисленные «труженики», однообразно-способные или неспособные. Взамен поэзии появилась литература, но и она скоро сменилась журналистикой, которая уже убивается газетой. Стили смешались, — и архитектор, возводя храм или дворец, думает о том только, откуда взять рисунок, но он уже не творит сам, не может творить и не понимает, что это нужно. Удушливая атмосфера коротких желаний и коротких мыслей носится над всем этим, придавливая каждый порыв кверху, поощряя всякое принижение — туда, что стоит еще ниже всех, что никого не оскорбляет своим превосходством. Слабое, даже дурное, даже преступное вызывает снисхождение, жалость, почти любовь и заботу о себе\*; и только к тому, что возвышается свежим ли дарованием или еще прошлым величием, эта бледная, жмущаяся друг к другу, безличная и свободная толпа пышет неутолимою ненавстью, беспощадным осуждением.

И сколько же внутренней боли в этих миллионах свободных людей, если простое созерцание чужого счастья пробуждает в

---

\* См. новейшую беллетристику и в глубоком соответствии с нею — новейшую юриспруденцию с ее заботами больше о преступниках, чем о непроступниках.

них столько страдания; и сколько темного несут они в себе, какие зародыши яда, если и заботы науки, и поэзию, какая еще осталась, они клонят только к больному, уродливому и преступному в человечестве, от всего же здорового и светлого непреодолимо отвращаются. Тут не придуманность, не господство искусственной теории сказывается; это растет из самой истории, это неотделимо от нового человека, как тусклый свет его глаз, как его бессвязный лепет.

... «Когда же дело идет к преодолению болезни — *упрощается картина* самого организма... Предсмертные, последние часы у всех умирающих сходнее, проще, чем середина болезни. Потом следует смерть — она всех уравнивает. Картина трупа малосложнее картины живого организма; в трупе все мало-помалу сливается, просачивается, жидкости застывают, плотные ткани рыхлеют, все цвета тела сливаются в один зеленовато-бурый. Скоро уже труп будет очень трудно отличить от другого трупа. Потом упрощение и смешение составных частей, продолжаясь, переходит все более и более в процесс разложения, распада, расщепления, разливания в окружающем. Мягкие части трупа, распадаясь, разлагаясь на свои химические составные части, доходят до крайностей неорганической простоты углерода, азота, водорода и кислорода, *разливаются* в окружающем мире, *распространяются*. Кости, благодаря большой силе внутреннего сцепления извести, составляющей их основу, переживают все остальное, но и они, при благоприятных условиях, скоро распадаются, сперва на части, а потом и на вовсе неорганический и безличный прах» \*.

От этих кратких, сухих отметок медика у постели умирающего перебросить мост к всемирно-историческим цивилизациям и понять одно в них как в процессах природы — для этого требовалось в своем роде такое же движение мысли, как то, которое заставило, по преданию, Ньютона поднять взор от падающего яблока к небесным светилам, и сказать: «Они тоже падают».

Образованность *разливается* в массах, и мы сами служим этому, неся свои труды, свои знания и таланты, поднимая каждого до уровня с собою — через школу, через книгу, и вовсе не популярную только. В свободе *уравнены* уже все, и мы только думаем об одном, как бы избавить массы от ига экономической зависимости, последней зависимости их от чего-нибудь. Одинаковость перед законом распространена на всех, и на всех же распространено право участия в подаче голосов и через это — в управлении

\* «Восток, Россия и славянство». С. 138–139.

и в законодательстве. Умелости, навыки, образ жизни повсюду сближены; стала *одинаковою* внешность всех людей, их манеры, их платье и, в сущности, их воззрения и чувства. Границы местные никого более *не сдерживают*, и всякий движется свободно по произволу нужды своей или фантазии; все менее и менее сдерживает кого-либо религия, семья, любовь к отечеству, — и именно потому, что они все-таки еще сдерживают, на них более всего обращаются ненависть и проклятия современного человечества. Они падут — и человек станет абсолютно и впервые «свободен». Свободен, как атом трупа, который стал прахом.

## XII

Но ведь это есть именно то, что мы всего более любим, чего жаждем, на что надеемся? И неужели заблуждением были вековые усилия стольких пронизательных умов и высоких характеров в истории?

Но почему мы будем думать, что писателю, который завел нас в эти дебри новых соображений, никогда не было дорого то, с чем нам так больно расстаться? Вот замечательные слова, которыми в одном месте он прерывает нить своих мыслей: «Какое дело честной, исторической реальной науке до неудобств, до потребностей, до деспотизма, до страданий?.. Что мне за дело в подобном вопросе до самих стонов человечества? Какое научное право я имею думать о конечных причинах, о целях, о благоденствии например, прежде серьезного, долгого и бесстрастного исследования?.. Какое мне дело, в более или менее отвлеченном исследовании, не только до чужих, но и *до моих собственных неудобств, до моих собственных стонов и страданий?*» \*.

Вот научный дух в вопросах истории и политики, какого мы так долго и напрасно ожидали от самих историков и политиков, давно переставших различать границы между наукой и филантропией. Прислушиваясь поэтому к словам нашего автора, мы можем ощутить много болезненного и неприятного; но мы не услышим ничего ложного, нас никогда не поразит в его речи обманывающая интонация. Очевидно, *работа исследователя* есть главное, что руководит его мыслями и словами, и уже на почве того, что найдено, что он считает безусловною истиной, разыгрываются его страсти, предостережения современникам и увещания.

\* «Восток, Россия и славянство». Т. I. С. 145. Курсив принадлежит г. Леонтьеву.



Этот убеждающий, взволнованный тон в самом деле разлит в его многочисленных сочинениях, но только в очень позднем из них мы находим указание на исходную точку, откуда начался поворотный пункт в развитии его убеждений. Мы приведем эту любопытную страницу («Записки отшельника», VI), почти не прерывая рассказ автора:

«Воспитанный на либерально-эстетической литературе 40-х годов (особенно на Ж<орж> Санд, Белинском и Тургеневе), я в первой юности моей был в одно и то же время и романтик, и почти нигилист...

Я сам удивляюсь, как могли совмещаться тогда в неопытной душе моей самые несовместимые вкусы и мнения! Удивляюсь себе; но зато понимаю иногда очень хорошо и нынешних запутанных и сбитых с толку молодых людей.

И одних ли молодых только?.. Разве у нас мало и старых глупцов?

До этих людей теперь только дошло многое из того, что нас (*немногих в то время*) волновало, утешало и раздражало тридцать лет тому назад... *Прогресс*, напр<имер>, *какой именно прогресс? Прогресс, образованность, наука, равенство, свобода!* Мне казалось все это тогда очень ясным; я даже, кажется, думал тогда, что все это одно и то же. Даже и революция мне нравилась; но, припоминая теперь свои тогдашние чувства, я вижу, что мне в то время нравилась только эстетическая сторона этих революций: опасности, вооруженная борьба, сражения и «баррикады» и пр. О *вреде* или *пользе* революций, о последствиях их я думал в те молодые годы гораздо меньше...

Я, сам того не сознавая, любил и в гражданских смутах их боевую сторону. *Воинственные средства* демократических движений нравились моему сильному воображению и заставляли меня довольно долго забывать о плодах этих опасных движений!.. Я сказал «довольно долго» от досады на тогдашнюю путаницу моих мыслей. Но по сравнению со многими другими людьми, пребывшими, быть может, на всю жизнь в стремлении к всеобщему мирному и деревянному преуспеянию, — я исправился скоро... *Время счастливого для меня перелома этого — была смутная эпоха польского восстания; время господства Добролюбова; пора европейских нот и ответов на них князя Горчакова.* Были тут и личные, случайные, сердечные влияния, помимо гражданских и умственных. — Да, я исправился скоро, хотя *борьба идей в уме моем была до того сильна в 62-м году, что я исхудал и почти целые петербургские зимние ночи проводил нередко без сна, положив голову и руки на стол в изнемо-*

*жених страдальческого раздумья, Я идеями не шутил, и нелегко мне было “сжигать то”, чему меня учили поклоняться и наши, и западные писатели»...*

Признаемся, не без чувства живейшего волнения мы прочли эти строки: значит, и он был наш, этот писатель, теперь так не похожий ни на кого, так разошедшийся со всеми в своих убеждениях. И, значит, тот путь, по которому прошел он, не закрыт ни для кого из нас и мы при одинаковых условиях можем прийти к кругу его идей, так<их> тревожных, так<их> неизмеримо значительных. И в самом деле, достаточно *догадаться* о том, о чем он догадался, — *что все разрушительное движение последнего века имеет свою конечную, не сознаваемую целью превратить человечество в аморфную, безвидную массу*, — и сердце наше забьется такою же тревогою и теми же самыми мыслями, как и его. Весь круг симпатий его, негодований и сочувствия станет и кругом наших собственных сочувствий и симпатий; потому что мы, живые еще люди, мы, остатки прекрасного тысячелетнего здания истории, — можем ли более всего не любить эту самую жизнь, можем ли пожалеть чего-нибудь, чтобы продлить существование и сохранить красоту этой истории? Она есть мать наша и всего нашего, есть общее условие всякого блага теперь и в будущих поколениях; и очевидно, что то, что стремится ее разрушить, как<им> бы обманчивым и прекрасным ни казалось, есть только обобщение всякого зла, есть его совокупность.

Мы, впервые обратив внимание на эту сторону действительности, сосредоточиваем внимание свое на том, что ранее закрывалось от нас нашими *собственными* идеалами: на этом древе исторической жизни, которое взращивает нас поколение за поколением на его собственном благосостоянии и росте, независимо от наших минутных ощущений, радостей и скорбей. Не слишком ли злоупотребляли мы его питанием и силою и вместо того, чтобы наливать сладким соком, не набирались ли из окружающей атмосферы яда, которым отравляем его соки, сушим и разлагаем его жизнь? Несомненные болезненные симптомы проявляются в нем, несомненно зиждательные процессы в нем начинают умаляться, а разрушительные возрастают. И если не будет дано снова преобладание первым, жизнь самого дерева, а с ним и нас, и наших будущих поколений не может быть плодотворна.

Именно наш народ является в истории не только наиболее поздним между народами, но и самым поздним *из всех* них. Недаром и границею своего распространения, своим политичес-

ким владычеством он коснулся самых ветхих стран — Памира, Индии, Арарата, откуда началась история. Как и следовало ожидать, всемирная история вытянулась в цикл, которого конец коснулся начала: уже немного осталось, и они сольются. Индейское, негритянское, малайское племена по самим физическим условиям своей организации несомненно не могут продолжать историю, поднять ее еще на какую-нибудь высоту; они могут лишь, *замешавшись в круг европейской цивилизации*, принять какое-нибудь в ней участие, по самым лучшим ожиданиям — второстепенное, механическое. Но что же они могут прибавить к Платону, к Ньютону, к Данте или Рафаэлю? И неужели будет у них свой Цезарь, или Карл Великий, или какой-то *ихний* Петр? Из какой истории он вырастет, когда у них нет ее? И что ему делать там, где нет сопротивления и не нужно усилия и где, кто бы и что бы ни собрал силою своей воли, — вновь все рассыплется, как куча песку без всякого внутреннего скрепляющего цемента, без инстинкта к самоорганизации, без сколько-нибудь удовлетворительных способностей. До начала истории у всех народов бродили мифы, играло воображение, были уже страсти, и из всего этого возникла история, которую мы могли бы предугадать по ним, как по рапсодиям Гомера уже можно было предвидеть и борьбу с «великим царем», и междуусобную распрю Афин и Спарты, и даже такие частные образы, как Фемистокла и Аристида. Итак, если и стихийных задатков нет у только что названных племен, то есть ли какое-нибудь основание видеть в них будущих продолжателей уже совершившейся истории, приемников европейской цивилизации, которую они возведут на еще высшую ступень?

Что же касается до остальных трех рас, монгольской, семитической и арийской, то в среде их все народы уже перегорели в тысячелетней жизни, и если неясно еще будущее которого-нибудь из них, то это — нашего только, славянского племени; оно одно не определилось еще окончательно, не выразило лика своего в истории, не высказало затаенных дум своих и желаний. Тогда как относительно всех других народов этого мы не можем сказать: для Испании, для Италии, для Франции, Германии и Англии, и порознь и для всех вместе, знойный полдень склонился к вечеру, и возвыситься на высшую степень творчества и красоты, нежели на какой стояли они уже в век Сервантеса, Рафаэля, Вольтера, Гете и Байрона, едва ли они думают, едва ли надеются сами. Все они прошли уже через зенит истории, каждый из них по-своему согрел и осветил цельное человечество, и никогда оно не забудет этого света, никогда в нем не истребится

память об этих избранниках истории. Но *жизнь*, но таинственные источники ее биения — разве они те же, что прежде? И кто из народов самого Запада скрывает от себя, что прежняя волна творчества бьет с меньшей силой, что она ослабевает и падает? Франция, прежде других вступившая на путь истории, первая начала уже сходить как тень с лица земли; в ней уже открылся процесс обратного физического вырождения: цифра населения несколько последних лет неподвижная, к ужасу всех, начала неудержимо падать.

Итак несомненно, что бремя цивилизации, которое до сих пор народы преемственно передавали друг другу, нашему народу будет некому передать. Он примет, он уже понес — криво и несовершенно — бремя европейской цивилизации, самой могущественной, самой разнообразной и глубокой, какая когда-либо возникла. Но он еще не отделился от народов, ее создавших, а между тем судьба их, все состояние так очевидно тревожно, и более всего тревожно для этой самой цивилизации как продукта их тысячелетней духовной жизни. Они полны саморазрушения и пламеннее всего хотели бы коснуться гноящимися руками — своей высшей уже достигнутой красоты: своей науки, своих искусств и поэзии, своих государственных организмов и больше всего — религии. Все, что с таким трудом и так долго создавали они, ради чего принесено столько жертв, что способно пропитать собою тысячелетия жизнь людей и само в себе совершенно вечно, — все это ненавидят они, не понимают более, все это усиливаются истребить с непостижимой враждой. Глухие и дикие завывания несметных рабочих масс, уже давно не национальных, не религиозных, совлекших с себя все, что шло из истории, — что это, как не стихийное движение, готовое взломать слабую оформленность, которая еще существует над ними, еще сохраняется пока от истории? Пусть, кто *может*, видит в этом движении начало новой эры, неиспытанный поворот истории; мы же видим в нем прежде всего *симптом* и не можем скрыть от себя его смысла, его неудержимого тяготения. Разве оливы мира несут эти массы будущему? Разве они полны ожиданий светлого чего-нибудь, мирного, радостного для всех людей, для них самих и для врагов их? Не горят ли они гораздо более ненавистью, чем даже желанием себе отдохновения и покоя? Не есть ли это последнее желание лишь покров, лишь временное оправдание для разрушительной деятельности, которую они прежде всего хотят выполнить? И кто скрывает это? Разве не повторяется постоянно, что там, за гранью исторического катаклизма, который произведут они, не будет более ни государства и его

организации, ни религии и ее выражения — церкви, ни «беспольных искусств», ни философских созерцаний? Только «машины» свои они перетасят туда, около которых трудятся, которые их обездушили, — как раб уносит в могилу цепи, вросшие в его тело, или труп — продолжение гнойного процесса в землю, куда он свел некогда цветшего красотой и жизнью.

Земля и трудящееся на ней племя людское — все, что было при начале истории, готовится стать при конце ее. «В поте труда своего будешь добывать хлеб свой, пока не сойдешь в землю, из которой взят»... Труд исторический почти уже окончен, человечество пусто от других желаний, кроме умеренной еды, умеренного тепла для своих членов. *Чем еще беременеет оно?* Итак, не ясно ли, что «сойти в землю, из которой взято» — есть все, что еще ожидается от него Предвечным Источником, который его вызвал тысячелетия назад к жизни. Оно уже и сходит, уже ступает ногами в могилу, еще не чувствуя этого, обманчиво думая, что куда-то идет, к чему-то «далекому» стремится.

### XIII

К. Н. Леонтьев следит за различными изворотливыми течениями своего времени, которые скрыто от человечества ведут его к этому концу. Внешние политические события, войны и договоры и еще более внутренние реформы, столь обильные в нашем веке, — все имеют этот один уклон: разрушение внутренней ткани, которая до сих пор проникала организм Европы, и возвращение его к первобытной аморфной массе как продукту всякого разложения. В прекрасной брошюре «Национальная политика как орудие всемирной революции» (Москва, 1889 г.) он впервые вскрывает истинный смысл национальных объединений XIX века, в которых участвовали столь великие умы и характеры, все равно слепые к тому, что они делали. Поочередно проводит он перед глазами читателя прежнюю Италию, прежнюю Германию и показывает, чем стали они после того, как осуществили заветную и, по-видимому, благороднейшую мечту свою: обезличение, утрата особенностей в быте, в характерах, в поэзии и умственных созерцаниях — одинаково стали уделом обеих великих наций. Германия, победительница Франции, приблизилась к ее типу, ее духовному и политическому сложению после победы: индустрия, пролетариат, социализм, освобождение от своих *особенных* понятий, идей, вкусов — все, к удивлению общему, внедрилось в эту страну — разлилось, переступив за Рейн, по старой Германии, как перед тем войска ее разлились по ветхой, утра-

тившей уж силы Франции. Две воевавшие нации, доведя до высшего напряжения свой антагонизм, в то же время во всем уподобились; но чувство ненависти — мы уже заметили — есть общее для всей новой Европы: оно единит ее внутренне, как конституция, как рельсы, как международные союзы единят ее по внешности. Италия, некогда столь оригинальная, столь привлекательная для поэтов и художников, которые стремились в нее из душевной Европы, как в чудный заросший сад, стала после Кавура и Виктора Эммануила, как все другие \*, как плоский бескров-

\* Замечательно, что это *предвидел* Герцен: «Что ждет Италию впереди, какую будущность имеет она обновленная, объединенная, независимая? Вопрос этот отбрасывает нас разом в страшную даль, во все тяжкие — *самых скорбных и самых спорных предметов...* Идеал итальянского освобождения беден, в нем опущен существенный, животворящий элемент. Итальянская революция была до сих пор только боем за независимость... Весь этот военный и статский геттуе-мэнэж<sup>29</sup>, и слава, и позор, и падшие границы, и возникающие камеры — все это отразится в ее жизни: она из клерикально-деспотической сделается буржуазно-парламентской, из дешевой — дорогой, из неудобной — удобной. Но этого мало и с этим далеко еще не уйдешь... Я спрашиваю себя: *будет ли что* Италии сказать и сделать на другой день после занятия Рима? И иной раз, не приискивая ответа, я начинаю желать, чтобы Рим остался еще надолго оживляющим desiderat'ом. До Рима все пойдет недурно, хватит и энергии, и силы, лишь бы хватило денег... До Рима Италия многое вынесет — и налоги, и пьемонтское местничество, и грабящую администрацию, и сварливую и докучную бюрократию; в ожидании Рима (тогда еще не присоединенного к Италии) все кажется неважным; для того чтобы иметь его — можно стесниться, надобно стоять дружно, Рим — черта границы, знамя, он перед глазами, он мешает спать, мешает торговать, он поддеживает лихорадку. В Риме — все переменится, все оборвется...

Народы, искупающие свою независимость, никогда не знают — и это превосходно, — что независимость сама по себе ничего не дает, кроме прав совершеннолетия, кроме места между пэрами, кроме признания гражданской способности *совершать акты* — и только. Какой же *акт* возвестится нам с высоты Капитолия и Квиринала, что провозгласится миру на Римском Форуме или на том балконе, с которого папа века благословлял “вселенную и город”?». И далее, описав последний случай в итальянском парламенте, продолжает: «Если Италия вживется в этот порядок, сложится в нем, она его не вынесет безнаказанно. *Такого призрачного мира лжи и пустых фраз, фраз без содержания* — трудно переработать народу менее бывалому, чем французы. У Франции *все не в самом деле*, но все есть, хоть для вида и показа; она, как старики, впавшие в детство, увлекается игрушками; подчас и догадывается, что ее лошади деревянные, но хочет обманываться. Италия не совладает с этими тенями китай-

ный Берлин, как Франция Второй империи и Третьей республики. Ее чудные предания, ее восторженная вера, ее понимание своих великих художников — все это забыто и осмеяно, все это даже без сопротивления исчезло, чтобы уступить место школьному учителю, лавке ситцевых изделий, гудящему станку фабрики. И кто знает, как недалеко время, когда прекрасная Венеция, Неаполитанский залив, кружевные беломраморные соборы затянутся каменноугольным дымом, а ленивых, но наконец грамотных *lazzaroni*<sup>30</sup> стонят на работу их «просветившиеся», намозоленные, давно завистливые к их праздности, соседние народы. К. Н. Леонтьев в одном месте сам останавливается в недоумении над этим общим результатом всех объединительных движений нашего времени: что, будучи столь национальны по цели, они являются столь антинациональными по последствиям. Но что же в них есть, как не отрицание старой государственной идеи, которая единила и оформливала людей, стоя выше их индивидуальных инстинктов, их племенных, зоологических отличий? И соединение *в одно племя* что включает в себе особенного, чего нет уже в неисторических народных массах, населяющих центральную Африку и прежде населявших Европу? Распадение по расам, расчленение по «языкам и родам» — это так естественно для того, что возвращается к стихийной простоте сложения, что, высвобождаясь из-под истории, становится незаметно вне ее. Вот почему этому громадному и новому распадению европейского человечества всюду, обнаруживая его тайный смысл, сопутствует высвобождение народов от своих культурных особенностей, которые ведь все растут именно из прошлого, связывают и организуют народ, выражают его «лик» в истории, который и стирается по мере того, как он из нее уходит. Как определенность выражения на лице умирающего, так определенность выражаемой души у объединяющихся наций пропадает в этот великий

---

ского фарфора, с лунной независимостью, освещаемой в три четверти тюльерийским солнцем, с церковью, презираемой и ненавидимой, за которой ухаживают, как за безумной бабушкой в ожидании ее скорой смерти. Картофельное тесто парламентаризма и риторика камер (палат депутатов) не даст итальянцу здоровья. Его забьет, сведет с ума эта мнимая пища и не в самом деле борьба. А другого ничего не готовится. Что же делать, где выход? Не знаю, разве в том, что, провозгласивши в Риме единство Италии, вслед за тем провозгласить ее распадение на самобытные, самозаконные части, едва связанные между собой. В десяти живых узлах, может, больше выработается, если есть чему выработаться». См. «Былое и думы» в «Полярной звезде» за 1868 г., книжка восьмая, с. 57 и 59<sup>31</sup>.

миг, когда, после тысячелетий труда и жертв во имя разных идей, они опять становятся *прежде всего* расой, т. е. только скопищем людей, населяющих известную территорию и говорящих на языке, непонятном для других народов.

Гораздо важнее и поистине поразительно, что все политические движения в XIX веке, исходившие из иных, *не* уравнилельных и *не* высвобождающих идей, не имели никакого успеха: Австрия, еще монархическая, еще религиозная и охранительная, разбивается Пруссией и, чувствуя слабость прежних основ жизни, принимает новые, сближающие ее с типом государственного сложения, столь прежде ненавистным. Россия, начав при императоре Николае восточную войну из-за прав покровительства своей церкви — столь ветхих прав, — впервые на протяжении двухвековой истории испытывает неудачу и, растерянная, открывает у себя уравнилельный и освобождающий процесс, который с конца прошлого века охватил Европу. И, напротив, начав ту же войну, но уже под знаменем новых идей — племенного освобождения и объединения, — она достигает полного успеха. Одновременно с тем, как она делает это усилие извне, внутри ее самой шире и пламеннее разливается лихорадочное возбуждение, закончившееся, впервые на протяжении тысячелетней истории, убийством монарха. Южные народы, только что освобожденные, немедленно вступают на путь обезличивающего прогресса, обдирая с ненавистью на себе все бытовое, культурно-особенное, что сбереглось у них под турецким игмом, что они любили ранее в страдании и унижении. И, наконец, сама Турция вступает на этот же путь, преобразует армию, финансы, администрацию под руководством западных «инструкторов» или обучившихся на Западе своих пашей. И она, замешавшись механически в европейскую жизнь, воспринимает в свое особенное, столь непохожее на другие тело, этот же один процесс, который проникает жизнь Европы. Наконец, в силу подобных же войн, он заносится и на далекий Восток: Китай размыкается из своей замкнутости, Япония поспешно, забыв даже о смешном, преобразуется, выучивается, переодевается и обстраивается по-европейски. Все столь далекие народы выходят на один путь, когда... в среде одного из них, по неисповедимым судьбам истории — нашего, является впервые сознание о том, куда ведет он.

Таким образом, *механизм разлагающего процесса*, который совершается в Европе, ясен: он состоит в том, что все, сохраняющее следы прежней оформленности, ослабевает в способности к сопротивлению; напротив, что становится бесформенным, получает силу преодоления. Именно эта особенность, отмечаемая во



всем умирающему, неудержимо разливает всюду уравнивающий и высвобождающий процесс, роняя сословия, подкашивая церковь, снимая с народов исторически выработавшиеся формы государственности, — всюду прорывая ткани тысячелетие слагавшегося организма и открывая простор для движений исторического атома, *человека*, ни с чем более не связанного, ни к чему не прикрепленного, ни для кого не нужного и всему чужого.

Насколько в течение века народы становились безрелигиозными, насколько они ненавидели своих властителей, насколько проникались внутренней завистью — сословия к сословию, бедности к богатству, в конце простой неспособности к духовно богатому, — настолько, возбужденные этими новыми и страстными ощущениями, они делались физически более сильными. Эта сила всех обманула, закрыла глаза на истину, увлекла всех на один путь. Человек, так долго живший своими особенными идеалами, стал увлекаться идеалом простого преобладания, победы в борьбе, какой желает для себя всякое животное. Эту силу, эту способность поглотить другого он принял за синоним лучшего. «Побеждает лишь совершеннейшее», — заключил он для зоологии и тотчас подумал о себе. С необозримыми движениями истории согласуется тихая мысль ученого, все являясь во время, когда нужно, чтобы произвести, что нужно. Высокие идеи, сложные понятия, выработанные долгой историей чувства — все отстраняется грубой действительностью на новом праве, все уступает место простым идеям и несложным чувствам.

#### XIV

И в самом деле — мы остановимся на этом с минуту, — как, в сущности, просты, *нетрудны* все преобладающие идеи нашего времени, религиозные, нравственные, художественные, политические. Что может быть проще этого взгляда на природу, по которому она есть только механизм, ничего не заключающий в себе, кроме движений и столкновений атомов, как эта игра упругих шаров, на которую я смотрю и ничему в ней не удивляюсь. Какое отсутствие любознательности нужно было, чтобы, кое-что заметив в природе, что происходит, как игра этих шаров, заключить в уме своем, что, без сомнения, и остальное происходит так же, но мы этого не разобрали пока и пусть разберут наши потомки. Или, в другой сфере, как легко предписать и выполнить, чтобы в художественном произведении имелась в виду лишь полезная сторона его, им производимое впечатление

и мера его выгоды для людей. Что может быть яснее арифметического взгляда на общество и государство, по которому воля большинства есть закон для всех; и что для определения этой воли выборные от всех должны собраться и, довольно послушав друг друга, подать только мнения, которые, без сомнения, будут истинны. Насколько все эти идеи (и подобные) просты, как мало они требуют умственного напряжения для понимания, это можно видеть из легкости, с которою они усваиваются среди народов самых первобытных и даже совсем диких. Разве Южная Америка не полна республик? Разве негры, освободясь от рабства, не сложились тотчас же в республики? Без *особенностей* в сложении своем, без некоторого мистического завитка в учреждениях, столь странных, столь непонятных потом для историков, — без этих патрициев и плебеев, без консулов, без царей-товарищей, ареопага и эфоров<sup>32</sup> — республика как пустая форма есть естественный для натурального человечества строй. До нее не нужно довоспитываться, доразвиваться, — как развивались французы до верности Людовикам, англичане — до любви к своей «королеве Бетси» или русские — до преданности Иоаннам и Петру. Заставить другого пожертвовать себе, даже погибнуть для себя — это легко, так понятно и естественно; но самому погибнуть ради другого, отдать жизнь за что-то, что останется и должно остаться, — это так трудно, так глубоко, так неизмеримо отошло от «натурального» состояния людей. То же мы должны сказать обо всех идеях религиозных и нравственных: в них содержится так много трепета за свою бессмертную душу, такое преклонение перед темным и скрытым средоточием Вселенной, так много любви, сомнений, тревог и ожиданий, — что думать, будто *испытать* это всякий может, было бы глубочайшим заблуждением. Оригинально возникли эти чувства у людей, которых было слишком немного в истории, имена которых с невыразимою благодарностью повторялись в ней бесчисленными поколениями; но уже высоки, уже богаты духом были и те, которые только повторяли эти имена, имели силу разделить эти чувства.

Здесь и открывается наиболее опасная сторона текущей действительности, скрытый центр, от которого текут ее бесчисленные явления: жизнь упрощается, потому что упрощается самый дух человеческий; история, вся культура становится элементарна, потому что к элементарности возвращается ее вечный двигатель. Все слишком глубокое, слишком сложное, слишком нежное и деликатное в идеях, в желаниях, в ощущениях непонятно и трудно стало для человека; и от этого с такими усилиями выработанное из истории неудержимо опадает с него. «Нагим вы-

шел из чрева матери моей и нагим возвращусь в землю»<sup>33</sup>, — говорит о себе всякий человек, и то же должно будет сказать человечество. Прекрасный, пышный, разнообразный убор, в какой одела его история, разворачивается год за годом, и каким вышел он из лоно природы тысячелетия назад, таким готовится сойти опять в это лоно.

## XV

Не менее ясно, чем механизм разложения, г. К. Леонтьев понимает и его *орудие*, тот таран, которым преемственно разбиваются понятия, верования, учреждения исторической Европы. Это — идея счастья как идея верховного начала человеческой жизни. Проходя через ее абстракцию, все, что живо было в человеке, что было для него абсолютно, становится относительным, условно-ценным и увядает, не возбуждая в нем прежних желаний. Он утратил непосредственное отношение к жизни; гораздо ранее, чем отверг прежние убеждения, навыки, чувства, весь окружающий склад действительности, — он отвлекся от него, уединился в себе и в этой заботе о своем счастье. Все отстало от него, отделилось; и тотчас он получил возможность смотреть на все со стороны, как на объект своих ощущений и мыслей, к которому относится через абстракцию этой идеи. Кровная связь его с исторически возникшею действительностью была утрачена; из нее лишь к кое-чему протягивал человек руку, чтобы удержать его на время, чтобы временно насладиться им, как художник наслаждается видом, на который он никогда, однако, не захочет вечно смотреть.

К. Н. Леонтьев не анализирует идею счастья как в ее логическом составе, так и в процессе ее исторического возникновения и усиления. Не будем и мы останавливаться здесь на этом анализе — он требует особенного труда, который не может быть побочным. Ограничимся только утверждением, что он прав в своем заключении о роли идеи счастья; которое разделяет с ним как все противники этой идеи, так и, особенно, ее защитники. Никто не старается скрыть от себя и от других, что она является как бы религией жизни в новой истории, что ею все оценивается и на ней все утверждается. По-видимому, при помощи этого отнесения всего к идее счастья как к основанию реально испытываемое человечеством счастье должно было бы возрасти; в надежде этого возрастания, без сомнения, и дано ей это положение относительно нравственности, права, политики, искусства — что

все она проверяет собою. Но тайна идеи этой состоит в ее внутренней преломляемости, в силу которой она чем правильнее и полнее осуществляется, тем большее вызывает страдание, — в личности ли, в обществе, в целом ли цикле истории.

От этого мы видим, что почти в меру той полноты, с какою человек отдает все силы своего ума, изобретательности, настойчивости устройению своего счастья здесь, на земле, — «царствия Божия» долу и вне себя, — и внутри, и даже извне он видит себя все более несчастным, оставленным, до такой степени лишенным какого-либо утешения, что и на деле, и особенно в мыслях, чаще и чаще останавливается на желании совершенного истребления себя. Жизнь, которая всегда была «даром» для человека, в одном XIX столетии стала бременем; она не благословляется более, но проклинается — явление чудовищное, извращение природы неслыханное! В какие времена, среди каких гонений, в какой низкой доле человек не отшатнулся бы с ужасом от мыслей, которые высказываются теперь среди избытка, видимого покоя и довольства. Если бы лицом к лицу свести поколения, давно сошедшие в землю, с теми, которые ее обитают теперь, если бы они увидели друг друга, высказались, — о, какими несчастными представились бы мы умершим людям, какими унылыми, жалкими, растерянными. Мы показывали бы им свои пишущие фонографы, пуки телеграфной проволоки, желатиновые пластинки, горы рельсов и говорили бы: «Вот наше счастье», а они, ничего этого не видя и только смотря в наше лицо, сказали бы: «Что вы над собой сделали, что сделали»...

Таким образом, не говоря о логическом содержании идеи счастья, человек ошибся в самом избрании ее как верховного руководящего начала для своей жизни, в этом печальном предположении, что она сколько-нибудь осуществима. Он понял страдание как что-то случайное в своей жизни, как какой-то побочный придаток к своему существованию, который можно отделить и отбросить. В этом убедила его устранимость каждого отдельного страдания, и, видя устранимыми их все, он подумал, что можно вовсе освободиться от всякого страдания. Он не заметил *соотносительности* между видами страдания, в силу которой всякое ослабление страдания в одном направлении вызывает его усиление в других; так что в минуту, когда он, по-видимому, уже достигает целей своих, когда думает, что все предусмотрено и введено в свои границы, — он именно ощущает себя нестерпимо несчастным, видит себя подавленным, хотя не понимает, откуда и каким путем. Таким образом, в общем складе физического и духовного существования человека страдание занимает

определенное положение и нельзя удалить его из жизни, не пошатнув всей жизни.

Между бесчисленными нитями, которыми скреплено страдание со всеми изгибами человеческого существования, отметим только две: это — увеличение внутреннего страдания по мере ослабления внешнего и зависимость от последнего всякого нравственного улучшения. Во все времена и у всех развитых народов наблюдалось, как по мере успехов внешней культуры, т. е. с ослаблением всяких для человека тягостей, опасностей, физических бедствий, — под тою или иною формою пробуждалось неутолимое страдание внутреннее. Как будто через физическое бедствие, в гораздо более легкой форме, выходило из природы человеческой какое-то неуничтожимое зло, которое при отсутствии этих бедствий оставалось всецело в ней и в такой мере отравляло ум и сердце людей, что жизнь становилась невыносимой все более и более среди полного внешнего довольства. Учение, характеры и судьбы стойков в древнем мире могут служить для этого ярким пояснением. При таких высоких мыслях, при всеобщем внешнем уважении, среди избытка материального — как были они угрюмы, как очевидно тяготились своим существованием, как слабосильны были во всякой внешней борьбе, очевидно затратив уже весь запас сил на какую-то скрытую, внутреннюю борьбу. Кажется, тогда только и развеселялись они, когда открывали себе жилы в теплой ванне. Думать, что источником их печали служило созерцание окружающего нравственного падения, было бы глубоко ошибочно: не так относились к подобному падению Марий, Демосфен, оба Гракха<sup>34</sup> и все люди, которые терпели, усиливались и не достигали, падали и наконец гибли — с лицом радостным, будто выполнив что-то необходимое для всякого человека на земле.

Другое и не менее замечательное явление состоит в том, что всякий раз, когда люди бывают долго избавлены от всякого внешнего страдания, они становятся сухи сердцем, безжалостны друг к другу и порою даже жадны к чужому страданию; и, наоборот, всякий раз, когда их посетит бедствие, в них пробуждаются лучшие чувства, глубокая человечность, взаимная заботливость и сострадание. Даже разум, по-видимому, так мало соотносящийся с началами страдания и счастья, становится под влиянием первого гораздо глубже, возвышеннее, серьезнее; и, напротив, среди довольства ум становится поверхностен и мелочен. На этом основано одно любопытное наблюдение, уже давно сделанное людьми, изучавшими образование человеческих характеров: при лучших условиях воспитания, самого изощренного, предупрежда-

ющего всякое дурное влияние, редко выходило из воспитывающихся что-нибудь выдающееся в умственном или в нравственном отношении и очень часто, напротив, выходило очень дурное; наоборот — из детей, без призора росших иногда в самых бедственных условиях, в унижении, в страдании, вырабатывались нередко замечательные характеры и не менее замечательные умы. Так что если бы можно было людей, в чем-либо оказавших услугу историческому развитию человечества, разместить по роду их жизни в детстве и в отрочестве, — то нельзя сомневаться, что ни к чему не готовившиеся из них, ни для чего преднамеренно не воспитывавшиеся превзошли бы числом и достоинством тех, которым уже с ранних лет давалось все, что делает наилучшим человека в умственном и нравственном отношении. От первых ничей предусмотрительный глаз не удалял лишения, горе, унижение; вторые же, окруженные всякими воспитательными началами, были лишены этого именно, самого могущественного из всех.

Таким образом, страдание неразрывно сплетено с возрастанием в человеке достоинства, и в меру того как мы стремимся стать лучше, мы не должны во что бы то ни стало стремиться быть довольными счастливыми. Воля, неизмеримо мудрейшая, нежели наше предвидение, положила, и навсегда, предел для достижения такого довольства. Но мы пренебрегли эту Волею и, не замечая невидимой сети законов, связывающих нашу природу и жизнь, слепо порываемся к счастью, от которого всякий раз, однако, неодолимо отталкиваемся. Поколение за поколением новое человечество усиливается достигнуть «этой простой и ясной цели», не будучи в состоянии освободиться от представления своей природы, как главным образом восприемника светлых или горестных впечатлений. Ему непонятно, почему оно не может избежать вторых и наполниться только первыми; для него весь труд истории сводится к искусству — завязать мешок своего бытия со стороны печалей и открыть его широко с другой стороны, откуда приходит все радостное. Тогда-то наступило бы это счастье, безначальное, нескончаемое, для всех достаточное. Погрузясь в предвкушение его, человек работает над своим прогрессом, высчитывая со всяким усилием, сколько привходит ему счастья, и страшась одного только, как бы с этим счастьем не привзошло какого-нибудь горя. Но, странное дело, горя всякий раз привходит больше, чем счастья, и чем более подвигается история, тем более грозит человеку судьба безумца, который умирает от голода, высчитывая какие-то неполученные богатства.

## XVI

Когда затемнение спутавшегося ума становится так сильно, можно думать, что близок исход из него. Подобно тому как на рубеже средней и новой истории человек, дойдя до крайней искусственности и бесплодности в силлогизации, вдруг и ясно вышел на путь опыта, о котором целое тысячелетие как будто забыл совершенно, — так точно и XIX век, столь подробно попытавшийся осуществить человеческое счастье на земле, несомненно стоит накануне исхода к совершенно противоположному течению идей и чувств.

«Провидению не угодно, чтобы предвидения одинокого мыслителя своим преждевременным влиянием на многие умы расстраивали ход событий» \*; но также несомненно, что самое появление этих предвидений не совершается вне воли Провидения и вне высших его планов. Мы можем в них видеть симптом, и не было бы силы на стороне их истины, всей красоты непонятности в свое время, если бы грядущее будущее не клонило на их сторону. Все — и дары наши, и слабость нашего духа — появляется вовремя и где нужно, бросается на извилистые пути истории не без цели направить ее согласно этому же Провидению.

Вот почему прекрасные, грустные и гордые слова, которые, как надмогильную вырезку, произнес о себе г. К. Леонтьев, теперь уже покойный \*\*, внушают нам не одну скорбь, но и некоторое утешение. Не может быть, невероятно, чтобы и он, и вся группа своеобразных мыслителей, которых ряд он так прекрасно завершил собою, была выкинута на арену истории без всякого смысла; чтобы не было смысла в их горячих и убежденных словах, в неугасимой вере в свою правоту, в их одиноком и бла-

---

\* См. «Национальная политика как орудие всемирной революции». К. Леонтьев. М., 1889. С. 6. Брошюра эта состоит из нескольких писем, обращенных к г. о. И. Фуделю. Преодолевая нежелание свое писать, г. К. Леонтьев и высказал в предисловии эти прекрасные слова, которые мы приведем здесь вполне: «Теперь я разучился воображать себя очень нужным и полезным; я имею достаточно оснований, чтобы считать свою литературную деятельность если не совсем уж бесплодной, то, во всяком случае, *преждевременной* и потому не могущею влиять непосредственно на течение дел... Провидению не угодно, чтобы предвидения одинокого мыслителя своим преждевременным влиянием на многие умы расстраивали ход истории».

\*\* Он скончался 12 ноября 1891 года в Троице-Сергиевской лавре, куда незадолго до смерти он переселился из Оптиной Пустыни.

городном положении среди общества, столь тусклого, столь зыбкого, среди которого они одни стояли, замкнувшись неподвижно в свои идеи. Не случайны их появление, их дар и судьба; но если так — близкое будущее заключает в себе среди сумрака смерти и радость новой жизни.

Здесь от анализа истории, от критики двухтысячелетней культуры европейского человечества мы должны бы перейти к синтезу будущего. Но эти синтетические построения редко бывают удачны, и обыкновенно будущее вовсе не оправдывает наших скудных гаданий о нем. Заметим только, что у К. Н. Леонтьева, как у человека глубоко религиозного, и притом в строгой форме установившейся догматики православия, надежды на будущее связывались с мыслью о перемещении центра нашей исторической жизни на юго-восток, вдаль от разлагающегося западного мира, в сторону еще немногих свежих народов Азии, которые, войдя в нашу плоть и кровь, обогатят и дух наш новыми началами, вовсе не похожими на европейские изжитые идеи, — наконец, в сторону древней Византии, которая была, как он доказывает, общею колыбелью (до VIII века) всей западной культуры и определительницею культурных особенностей нашего народа. Возрождение духа древней Византии, обновленного и усложненного элементами других цивилизаций и свежих народов, — вот более или менее конкретное представление, которое носилось перед его духовными глазами с давних пор и до смерти.

Но его аналитический, строго научный ум и этим гаданиям давал почву в наблюдениях — или истории, или действительности. Он замечает, что между всемирно-историческими народами или культурами у России только во второй раз наблюдается склонность перемещать центры жизни: еще подобную же переменчивость мы наблюдаем только в мусульманском мире, где Дамаск, Багдад и Стамбул преемственно являлись столицами халифата и с тем вместе центрами силы и влияния политического, религиозного и вообще культурного. Все остальные народы древнего и нового мира, раз они были сколько-нибудь значащи во всемирной цивилизации, неразделимо сливались с жизнью и судьбою какого-нибудь одного города; таков был Рим в древности и Париж в новой истории или Иерусалим в еще более отдаленную эпоху. Не только не было никогда перемещения центра национальной жизни из этих городов в другие; но — мы это живо чувствуем — подобное перемещение и как-то невозможно, почти немислимо: Франция без Парижа и еще более Италия без Рима являлись бы в истории каким-то тусклым пятном, ничего не говорящим и не выражающим; евреи во всемирном рассея-



нии своем, даже не имея сколько-нибудь вероятной надежды на возвращение себе Иерусалима, именно с этим возвращением соединяют все свои ожидания, надежду на возвращение своей исторической миссии: они не хотят и даже не могут творить иначе, как в стенах своего древнего Сиона. Как будто в великих городах этих из их особенной почвы растет какая-то живительная сила истории, которая единит народы, раскрывает их уста, окружает главу их сиянием, которое меркнет, и самые народы гибнут, как только теряют связь с этими источниками своей силы.

Но в халифате с перемещением его центра — замечает К. Н. Леонтьев — *не изменялось содержание истории*: этим содержанием всюду оставался Коран, его заветы и дух, примыкающая к нему культура, и *переменялась* только оболочка этого содержания — *племя*, ему наиболее верное, Таким образом, в судьбах мусульманского мира мы наблюдаем историю преемственных носителей одной и той же идеи, которая остается неподвижной. Напротив, в перемещении центров нашей исторической жизни мы наблюдаем *изменение* именно *носимой идеи при сохранении одной и той же народности и того же политического организма*; здесь, таким образом, является намек как бы на вечное развитие содержания в жизни одного развивающегося. И в самом деле, в Киеве, в Москве, на берегах Невы Россия являлась отрицающею себя самое, и притом окончательно и во всех подробностях прошлого бытия своего. Это была не перемена только центра влияния и силы, но переход руководителей этой жизни на новое место с целью, с жаждою и потребностью начать жить совсем иначе, нежели как уже было прожито несколько веков. Андрей Боголюбский, с образом Богородицы бегущий вопреки воле отца на север и закладывающий там новый город<sup>35</sup>, — вот лучший символ нашей истории, выражение коренной черты нашего характера и всемирно-исторической судьбы. Подобным же образом, но уже с рубанком и пушками, бежал Петр еще далее к северу, за самую грань своего царства, на только что отнятый у соседа клочок земли. В страстях, в характере, в привязанностях и ненависти этих двух государей совершались два сгиба нашей духовной истории, после которых все становилось в ней иначе, для других целей и по новым основаниям. Было бы напрасно в их *деятельности* видеть их главное значение; не как законодатели, политики, воины велики они — они велики как творцы нового исторического настроения. Их войны, предприятия, неудачи или успехи, даже в результатах своих, прошли уже скоро после их смерти, — но не прошло в течение веков их особое *отношение* ко всякому делу, тот способ думать, желать, оцени-

вать, какой они внесли с собою и распространили, передав их порождениям своим и целому народу. Угрюмый Андрей явился живым и личным отрицанием всего киевского цикла нашей истории, светлого среди всех печалей, не озабоченного никакими помыслами, отдававшего каждому дню столько сил, сколько их оставалось от прошлого. Ни Мономахом, ни мудрым Ярославом, ни самим Владимиром, никем из светлого среди них гнезда Рюриковичей, о котором рассказывает «Слово о полку Игореве», не мог и не хотел стать Боголюбский, отшельник, готовый сжечь все это гнездо, из которого, однако, сам вышел, но не любил и не уважал его. Уединясь в церковь, в долгие часы ночного бдения, он молился неизвестно о чем, как молились государи наши и весь народ впредь до шумного карнавала при молодом царе новой эпохи. И так молившийся князь, строитель церквей и городов, «опал в лице» при одной вести, что там, на юге, его повелению осмелились насмеяться какие-то его родственники-князья. В этом гордом властительстве, в этом уединении в себя, но без какого-либо просветления и углубления душевного, в этой медлительности движений и недостатке слов сказала уже вся Москва с ее великой миссией, с ее исторической озабоченностью, с ее дальнозоркими святителями и монашествующими, угрюмыми царями. На пять веков замолкла в нашей земле поэзия, принизилась мысль, все сжалось и вытянулось по одному направлению — государственного строительства, В фактах, и лишь по неречистости не в книгах, в эти пять веков было создано все, чем, в сущности, и до сих пор бессознательно живем мы в сфере политической мудрости, успевая лишь настолько, насколько верны традициям этого цикла, бессильные что-либо придумать здесь новое и оригинальное. Идеи царя и подданного, служения и прав, на нем основанных, сознание общих нужд, за которыми не видны личные интересы, — наконец, связь быта, церкви и всего царства между собою до неразъединимости и бесчисленные другие понятия — все это создано было в то время, и от всего этого мы едва ли уже когда-нибудь высвободимся. Ни бурное в беззаветности своей XVIII столетие, ни наш мелкоученый век ни в чем не имели силы расстроить эти понятия, лишь порой обесмысливая их в приложениях или переделках.

В цветущем отроке тихого и богобоязненного царя, на свободе и без призора выросшего, Россия сбросила прежнее свое одеяние, слишком монотонное, хотя и важное, чтобы расцветиться всею яркостью самых разнообразных и светлых красок. В свободе движения этого, в его прихотливости и непреднамеренности и вместе в глубокой естественности и простоте и сказался пере-

лом нашей истории — гораздо более, чем в Великой Северной войне, чем в воинских и морских артикулах, в законе о майорате и табели о рангах. И в самом деле, можно представить себе, что при Алексее Михайловиче русские победили бы шведов, как они побеждали поляков, что его намерения исполнились и мы имели флот, что Немецкая слобода разрослась и русские научились наконец сами стрелять из пушек, — совершился ли бы от этого тот перелом в нашей истории, который мы все живо чувствуем, так неясно понимаем и не умеем сколько-нибудь определить? Ясно, что все текло бы тогда дальше, чем при Алексее Михайловиче, — как при нем текло уже дальше, нежели при Иоанне III, — но в том же направлении, так же тихо и не менее однообразно. Итак, если несомненно *не в успехах* Петра заключалась тайна его исторического значения, то в чем же она лежала?

В *способе*, каким совершились все эти дела, в той новой складке духа, откуда вырос каждый его нетерпеливый замысел, и в той несвязанности его мысли чем-либо, что прямо не относилось к делу, несвязанности, которую у него впервые мы наблюдаем в нашей истории и с тех пор сами стремимся всегда сохранять ее. И в самом деле, на протяжении пяти веков вся жизнь наша как будто носила какие-то внутренние путы, связывавшие каждый наш замысел, всякое действие, стеснявшие непреодолимой оградой всякий порыв мысли и личное чувство. Нельзя сказать, чтобы эта связанность вытекала из какого-нибудь внешнего требования; скорее она была следствием внутреннего расположения, уже сказавшегося впервые в Андрее Боголюбском и продолжавшегося у всех преемников его исторической миссии. Никогда и никакой уторопленности мы не замечаем в них, и это вовсе не оттого, что никогда в ней не было потребности; но, пренебрегая всякой потребностью, русские люди в течение веков ни разу не ускорили своего шагу, который ранее и по малейшему требованию дела они ускоряли легко, свободно и даже капризно. Мы знаем, как религиозно было то время; но замечательно, что мы вовсе не знаем ни одного религиозного порыва из того времени, ни одной умиленной молитвы, ни одной пламенной проповеди. Святые в лесах дремучих так же молчаливо, без слов, молились, — как без слов, молчаливо, в стенах Московского Кремля цари вершили свою политику. Даже в страшные годы царенья Грозного мы больше видим крови, видим судороги жертв, как и судороги их мучителя; но очень мало слышим криков негодования, мольбы о помощи или требования пощады. Только Курбский, изменник царю, народу и вековым заветам жить и умирать, вместо того чтобы войти молчаливою полустрокой в

«Синодик», предпочел написать несколько длинных, без всякого основания, писем. И так же, как не знаем мы слез и отчаяния у людей этого времени, не знаем мы в них и радости и веселья; ни одного смеющегося лица не видим мы на протяжении пяти столетий, которое нарушало бы собою монотонную угрюмость всех и молчание. В совете царском, в молитве, перед людьми и даже Богом эти странные люди как будто боялись вечно за свое достоинство, за эту беспредметную серьезность, которую не хотели, не могли и, наконец, не умели они оставить. И если мы подумаем, что этот склад жизни установился у народа молодого, еще не испытавшего все богатства жизни, — мы поймем, как много во всем этом было искусственного, неестественного и ложного. Здесь была какая-то придуманная стыдливость, напрасный страх проявить свои силы, — и он выработал общие формы, под которые укрывалось все индивидуальное, все частное и особенное в человеке и в жизни. Ничего не выдавалось из-под этих общих форм, заботливо хранимых в войне и мире, в чистой семейной радости и среди государственных бедствий. Никакая поэзия, никакое проявление любознательности, ни даже простой успех во всяком живом деле не был возможен при этих общих формах, придавших печать преждевременной старости народу, у которого все еще было в будущем, ни один из даров духа не был обнаружен и проявлен.

Этот покров общих форм, скрывавших живую индивидуальность, эту искусственную условность жизни и разбил Петр силою своей богатой личности. Полный неиссякаемой энергии и жизни, против воли неудержимый во всех движениях, он одной натурою своей перервал и перепутал все установившиеся отношения, весь хитро сплетенный узор нашего старого быта, и сам вечно свободный, дал внутреннюю свободу и непринужденность и своему народу. В великом и незначительном, на полях битв и в веселых пиршествах он научил своих современников простому и естественному и этим открыл новую эру в нашей истории, сделав возможным в ней проявление всех даров духа, всяких способностей человека гениального, как и уродливого. С ним и после него впервые после векового молчания мы наконец слышим в нашей истории живые голоса, крики радости и гнева, гордости и унижения — звуки человеческой души, более всего прекрасные. Необузданность, борьба страстей, бесстыдство и героизм на плахе и в походах наполняют волнением нашу историю, дотоле столь тихую, и то, что более всего в ней поражает нас, — это именно богатство индивидуальности. С нею возможна стала поэзия, сперва дикая, как и весь хаос перемешавшейся жизни, но

потом отстоявшаяся и нашедшая звуки, столь чудные, чарующие не для одного нашего уха. С ней возможна стала любознательность, и бегство бедного мальчика с берегов Ледовитого моря в Москву, на берега Невы, к германским натуралистам уже не представляло чего-либо необыкновенного. Каждый и прежде всего хотел удовлетворить свою нагую человечность и лишь в применении к ней рассматривал церковь, государство, поэзию, университет, — или находя в них все, что ей было нужно, или, в противном случае, усиливаясь создать новое. И с тех пор и до нашего времени эта непокорная индивидуальность и приводит в отчаяние, и умиляет нас, то внушая за будущее самые страшные опасения, то наполняя сердце великими надеждами. Где еще конец этому своевольству творчества, этому отрицанию векового и священного, неудержимому порыву духа из всяких твердых форм?

## XVII

Но вот это богатство творчества, видимо, иссякает и эта безбрежность ничем не ограниченной мысли наконец для всех становится утомительна. Это сказывается оскудением поэзии и художества, упадком воображения и чувства и, с другой стороны, — в хаосе, обезображении всей жизни личной, общественной, политической, которого мы все свидетели. Веселость и красота двухвекового карнавала прошла, а то, что остается от него, дымящиеся факелы и безобразно-уродливые маски, разбросанные там и здесь, не могут быть ни для кого привлекательны и дороги. В подобном положении, полном отвращения к только что совершившемуся, стоит наше общество теперь — очевидно, на рубеже двух циклов своей истории, из которых один уже заканчивается, а другой еще не наступил. Появление славянофилов, нам думается, есть именно симптом, глубоко выражающий это историческое положение. Но кто больше придавал бы значения их чаяниям, нежели критике и отрицаниям, — мы думаем, глубоко бы ошибся.

Недостаточность, необоснованность в синтетическом построении будущего мы находим и у К. Н. Леонтьева. Он слишком много вносит в это будущее из второй фазы нашего исторического развития, почти думая, как и все славянофилы, что мы лишь воскресим ее снова, опять переживем, что было уже пережито. *Этого никогда не происходит в истории*, и в древе жизни человеческой что раз вскрылось и выразилось, никогда не выразится

снова, перейдя за черту бытия в иную сферу, которая лежит по ту сторону смерти.

Одно можно предугадать в этом будущем — второстепенное, незначашее; и предугадать, основываясь на том, что уже совершилось в нашей истории. И в самом деле, в трех уже пройденных фазах нашего развития было не одно отрицание, но и сохранение. Главное, что создавалось в каждой фазе, уносилось и в следующую; но оно становилось там несознаваемой опорой жизни, но не предметом желания, не целью достигаемой, не главным интересом забот и деятельности. В первый период нашей истории мы просветились христианством, и в этом заключался его смысл, вся значительность его, не умершая и не имеющая когда-либо умереть. Удивительно, как характер народности нашей за это время отвечал *уже ранее* принятия христианства той миссии, которая ему выпала в истории через это принятие: дух открытости, ясности и неозабоченность какими-нибудь особенными земными нуждами и интересами — все это делало вступление юного народа в лоно новой религии легким, безболезненным, исполненным радости. И как свободно и легко он ее принял в одной незаметной частице своей, так же легко и почти без принуждения передал и другим бесчисленным частям своим, и даже иноплеменным соседям. Странно: мы почти не знаем *как* и знаем лишь *насколько далеко* распространилось христианство в первые два-три века после просвещения им киевлян; без помощи сколько-нибудь организованной силы, без всяких средств умственного убеждения, одною силою своей простоты и чистосердечия монахи и священники того времени сделали гораздо более, чем сколько могло сделать при всей политической мощи Московское государство или при всех средствах науки новейшие миссионеры. Собственно, где остановилось тогда религиозное просвещение, оно остается и до сих пор, не будучи в силах преодолеть даже языческой косности многих финско-монгольских племен, живущих среди русского народа или бок о бок с ним, и тем менее преодолевая магометанский или еврейский фанатизм.

В богобоязненном, церковном втором периоде нашей истории это принятое ранее христианство вовсе не было главным, хотя и выставлялось таким. Оно было опорой деятельности, в своих целях не имевшей ничего общего с заветами Евангелия, торжественно и неподвижно лежавшего на аналоях, а не жившего в совести и сердцах людей. Целью, главною заботой в этом втором фазисе было объединение и высвобождение земли своей и потом ее сложение в могущественный и правильный организм. И здесь, по отношению к этой миссии, мы также наблюдаем предвари-

тельное установление психического строя, при котором она наилучше могла бы выполниться: эту способность к преемственному достижению одной цели, глубокое сознание себя и всех участников своей деятельности лишь как части, которая должна покоряться целому, только как орудия идеальных требований и стремлений, которым суждено осуществиться в будущем, — что все и слило бесчисленное множество людей, от государя и до раба его, в одну компактную массу, где мы едва различаем образы, но видим могучие силы и совершение великих фактов.

Государственная организация, созданная в этом периоде, перенесена была и в следующий, и, по-видимому, ради укрепления этой организации совершился самый переход нашего исторического развития в новый фазис. Но это было лишь по-видимому; по отсутствию оригинального творчества в политической сфере мы живо угадываем ее второстепенное теперь значение, ее пособляющую, способствующую роль около чего-то другого, что и было в действительности главным. Как мы уже заметили, это главное состояло в раскрытии индивидуальных сил, вовсе не связанных непременно с государством и его нуждами, и еще менее — с религиею. Эти силы обратились к сферам творчества, которые никогда ранее не влекли к себе нашего народа и, однако, для души человеческой, для ее просветления и развития, необходимы более, чем что-либо другое. Поэзия, искусство и также наука и философия составили предмет забот, любви, влечения, около которых государство было только оберегателем и религия — лишь общим, очень далеким органом, который все же бросал свою тень на прихотливые создания фантазии. Всем известно, до какой степени наше общество чем далее, тем более удалялось, теряя связи, как от государства своего, так и от церкви \*. И, будто бессознательно чувствуя свою лишь охраняющую миссию, и государство и церковь бережно щадили эту странную

---

\* Это удаление до такой степени очевидно, что в монархической и православной России едва ли был даже один сколько-нибудь значительный писатель, поэт, художник или композитор и монархистом, и православным — без оговорок. И это до такой степени обычно, общество так уже привыкло к этому, что всякие слова в строго монархическом и православном духе, какому бы авторитету они ни принадлежали, встречались обществу читающим с несказанным изумлением, иногда принимались даже как признак помешательства. Ср. историю с «Избранными местами из переписки» Гоголя, также с некоторыми стихотворениями Пушкина. Можно ли представить себе подобное отношение к протестантизму в Германии или к католицизму — в романских странах!

свободу, столь несовместную по сущности с их принципами. Для будущего историка это отношение государства и церкви к независимо развивающемуся обществу представится как очень любопытное явление — и привлекательное. Мы, правда, вечно жаловались все-таки на недостаток свободы; но это было лишь по недоразумению, лишь следствием чрезмерной нашей жажды свободы, опасавшейся даже *возможного* стеснения. Мы указывали обыкновенно при этом на западные страны, но это указание было совершенно ошибочное: ни церковь, ни государство там уже не имеют такого живого значения, такой ничем не нарушенной веры в свою абсолютность, какая продолжала сохраняться и сохраняется у нас. Там стеснение было невозможно — за умиранием, за истощением сил в том, что хотели бы стеснить; у нас оно было бережно удалено — со стороны того, что было полно сил и могло бы и даже должно по своим принципам — стеснить, но этого не хотело.

Таким образом, христианство, политическая организация и индивидуальное творчество, являясь каждое главным в одном из трех периодов нашего исторического возрастания, в каждом последующем периоде являлись как вторичное, как его опора, но не цель. Что станет новой целью в четвертой фазе нашего развития, ее главной заботой и интересом — это было бы напрасно усиливаться отгадать. Как можно было среди битв с половцами и печенегами, веселых княжеских съездов и шумного веча — угадать характер Андрея Боголюбского, деяния Грозного, особый оттенок благочестия его больного сына и Алексея Михайловича? Разве в Печерских угодниках были те черты, которые мы находим в митрополитах Петре и Алексее, в Александре Невском, в св. Сергии или, наконец, в Василии Блаженном? Самый характер христианства как будто изменился в круто повернувшемся складе исторической жизни. И, с другой стороны, уже при Алексее Михайловиче, в его царской думе, в Морозове и Матвееве — как можно было отгадать всеоживляющий образ Петра, его Меншикова и Остермана, его баталии и похождения, его мощь, забавы, труды и смех, которые два века отдаются в наших ушах. И так же точно в кругу, в влечениях и в интересах нашей жизни... что можем мы угадать о будущем? Куда и что понесет с собою новый избранник нашей истории, ни на кого в ней не похожий, обремененный новой мыслью, все прошлое ее ненавидящий, бегущий в новые места, — как Боголюбский бежал из Киева, Петр — из Москвы, как, повторяя историю в лице своем, каждый из нас бежал от преданий своего детства и всякое поколение — от поколения предыдущего?..



Но одна черта в представлении К. Н. Леонтьева нам кажется вероятной: это — уклонение нашей истории к юго-востоку как естественное следствие ее отрицательного отношения к прошлому. Во всяком периоде нашей истории мы разрывали с предыдущим — и разрыв, который нам предстоит теперь, есть, без сомнения, разрыв с Западом. Сомнение в прочности и в абсолютном достоинстве европейской культуры, которое является теперь общераспространенным, послужит для нового поворота нашей истории и такой же исходной точкой, как вечные неудачи и поражения русских послужили два века тому назад исходной точкой идей и стремлений Петра. Исторический поворот, нам предстоящий, можно думать, будет еще более резок и глубок, нежели какой произошел в то время: там было только ощущение каких-то технических недостатков, подробностей; теперь является чувство *общей неудовлетворенности*, при полном довольстве подробностями, — живое сознание недостаточности целого.

Судя по этому сознанию, можно думать, что характер четвертой фазы нашего исторического развития будет именно *синтетический*; создание общей концепции жизни, какое-то цельное воззрение, из которого могли бы развиваться бесчисленные ее подробности и частности — все по иному типу, нежели по какому развивались они в новой истории, — вот, думается, задача, которая предстоит нашему будущему. Не с рубанком и пушками и не с замыслом только государственной идеи, но с каким-то новым чувством, выросшим в глубинах совести, будущий вождь нашего народа, отряхнув прах прошлого со своих ног, поведет его к новой задаче исторического созидания.

К. Н. Леонтьев, по-видимому, думал, что этим воссоздаваемым будут византийские начала. Он вообще невысоко смотрит на творческие силы русского народа и с совершенным уже пренебрежением глядит на других славян, западных и южных, которые никогда и ничего, кроме подражательности, не обнаруживали в истории. Этих последних он считает совершенно пустыми от каких-либо мистических задатков, которым, сказать кстати, действительно принадлежит все истинно творческое, оригинальное в истории (в искусстве, в науке и философии, в государстве, не говоря уже о религии). На началах религиозных было многое разрушено в истории, и многое пытались создать на них, но ничего не было создано. В противоположность этим пустопорожним народностям, в русском народе он находит гораздо более глубины, более пламенное и нежное чувство, проявление склонностей и порывов, очень мало объяснимых рационально. Все го-

ворит в нем о племени неизмеримо более творческом и оригинальном — говорит в простом народе и в высших слоях, в древности, как и теперь. Мы позволим здесь привести одно его рассуждение, плод долгих, многолетних наблюдений его над Востоком.

«Если мы будем, — говорит он, — сравнивать европейских греков и таких же болгар с русскими, то первое наше впечатление будет — что вообще восточные христиане суше, холоднее нас в частной своей жизни; у них меньше идеализма сердечного, семейного, религиозного; все грубее, меньше тонкости, но зато больше здоровья, больше здравого смысла, трезвости, умеренности. Меньше рыцарских чувств, меньше сознательного добродушия, меньше щедрости; но больше выдержки, больше домашнего и внутреннего порядка, меньше развращенности, распущенности.

У них меньше, чем у нас, оригинальных характеров, редких типов; гораздо меньше поэзии; но зато у них и помину нет о девушках-нигилистках, — о сестрах, просящих братьев убить их, потому что им скучно, — о мужьях, вешающих молодых жен, потому что дела пошли худо, — о юношах, почти отроках, убивающих кучера, чтоб учиться революции, и т. д. Сами преступления у восточных христиан (у греков и славян без различия) носят какой-то более понятный, расчетливый характер; этих странных убийств от тоски, от разочарования, с досады просто или от геростратовского желания лично прославиться, *без цели и смысла*, — убийств, обнаруживающих *глубокую боль сердца в русском обществе и вместе с тем глубокую нравственную распущенность*, ничего подобного здесь не слышно ни у греков, ни у болгар, ни у сербов. Желание грабежа, ссора, месть, ревность — словом, более естественные, более, пожалуй, грубые, простые, но вообще более расчетливые и сухие, так сказать, побуждения бывают на Востоке причинами преступлений», и т. д. \*

Но для глубокого и продолжительного исторического созидания, для выполнения великих и своеобразных задач культуры — и племя русское представляется г. К. Леонтьеву недостаточно творческим; или, точнее, творчество его кажется ему бесформенным, слишком неархитектурным. Много прекрасного, глубокого, даже оригинального, может быть им создано, — но этого все еще недостаточно, чтобы вылить жизнь историческую в твердые, законченные формы, сильные против разрушающего действия времени. А ввиду разложения западной культуры, ввиду

---

\* «Восток, Россия и славянство». Т. I. С. 203. Статья «Русские греки и юго-славяне».

того что русский народ выступает уже последним в истории, — именно прочность созидания едва ли не важнее еще, нежели присутствие в нем каких-либо гениальных, но недолговечных проявлений.

Указание на черту эту, ее необходимость в будущем и ее недостаток у русских есть одно из важных указаний у К. Н. Леонтьева, вытекающее глубочайшим образом из всего его исторического созерцания: в этом указании есть некоторое самоотречение, есть национальное бесстрашие, какому мы не знаем примера. Но едва ли не ошибся он здесь: мы уже сказали, что последние два века главное в историческом нашем созидании носит *индивидуальный* характер; эту индивидуальность, порой гениальную и всегда непрочную, он принял, кажется, за постоянную черту нашей истории. Таким образом, то, что составляет особенность и задачу двухвекового развития, он обобщил на все времена и перенес на особенности духа своего народа. Между тем один взгляд на второй период нашей истории, на процесс государственного созидания мог бы убедить его в способности нашего национального характера к постоянству, упорству, выдержанности в творчестве. Есть, хоть разбросанные очень, черты эти и в новой нашей истории.

Итак, неправильно (нам думается) приняв наш характер как бесформенный, он полагал, что эта недостающая оформленность может быть придана нам византизмом. Он с удивительной чуткостью подмечает, что византийские начала залегли у нас и там, где мы их нисколько не подозреваем, — в поэзии, в семейном быте, не говоря уже о государственном и религиозном складе жизни. Его указания верны и многозначительны; но есть и одностронность в них, мимо которой нельзя пройти.

Когда, в какую эпоху мы более всего были проникнуты византийскими началами? Не все ли скажут, что в период государственного созидания Москвою? Но если так, почему не в пору своей детской восприимчивости, не при живой Византии и близости от нее мы прониклись этими началами, но в пору недоверчивой замкнутости и уже павшей Византии, разделенные к тому же от нее громадными пространствами и враждебными племенами? Не есть ли византийское происхождение московского склада жизни явление гораздо более кажущееся, чем действительное?

Нам не кажется, чтобы Владимир Св<ятой> и его дети — Мстиславы Храбрый и Удалой, Роман и Даниил Галицкие, Олег «Гориславич» — носили ообенно византийский облик. В эту пору горячей связи, только что восприняв христианство, впечатлительные до переимчивости многого у половцев, — мы сохрани-

ли, однако, общеславянские черты характера, доброго, уступчивого, несколько беспорядочного и слабого. И вот когда Византия из могущественной и привлекательной империи стала рабыней мусульманства, выпрашивавшей у нас денег, — при гордых Иоаннах, при Годунове, при первых царях из дома Романовых, мы хотим видеть Россию проникнутой византийскими началами. Не обман ли это, не приписываем ли мы черт глубоко оригинальных и самобытных — заимствованию. По крайней мере, даже теперь, после двухвекового постоянного и тесного общения с европейцами, облик европейский лежит на нас не так прочно — его легче отодрать, — нежели как лежал особенный, *будто бы византийский*, облик на людях Московского государства.

Утонченная и порочная Византия, мешавшая отвлеченные споры богословско-философского содержания с оргиями, шумом и развратом цирка, Византия, столь жестокая и лукавая, так надругавшаяся над многими своими императорами, едва ли серьезно может быть поставлена как оригинал и прототип Москвы — угрюмо-молчаливой, упорно-настойчивой, гораздо более насильственной, чем коварной, так во всем не утонченной по мысли, по вкусам, по сердечным влечениям и вместе так преданной крови своих царей, только в этом одном, кажется, нежной и утонченной.

По крайней мере, нам кажется, что все черты этого особенного типа возникли в нашем народе совершенно оригинально и самобытно, как предуготовительные для особой миссии государственного созидания, какую ему предстояло тогда выполнить. И, во всяком случае, раз несомненно, что в истории народ наш не является все с одним и тем же душевным и жизненным складом, — а этот склад не изменялся у Византии, — не может быть и речи о каком-либо его заимствовании. Мы уже высказывали ранее и снова настаиваем, что одна и та же основа, например одинаковая догматика и весь ритуал христианства, будучи переносимы в разные народности и в разные эпохи, — дают неодинаковую им окраску. Так, нельзя приписать и влиянию византийской церкви и государства весь склад нашего государства, быта, нравственных и других понятий. В некоторые эпохи здесь было сходство, но не было заимствования, подчинения, — или не было его в очень значительной степени.

И однако в объеме христианской догматики и всего церковного склада — без передачи более утонченных черт быта — Византия залегла в нашу историческую жизнь. Выработка догматики этой и всего церковного устройства составляет особенную, великую, всемирно-историческую миссию Византии. Мы никак не должны забывать, что именно Восточной империи принадлежит

этот труд, и на Западе он был только принят и усвоен\*. Здесь еще раз сказалось вечное стремление исторических процессов к разнообразию, к расходованию задач своих, продуктов своего творчества. В особенном труде, который приняла на себя Византия и, выполнив который — она умерла, погибла, заключено столько же абсолютной красоты, но совершенно и неизъянимо оригинальной, сколько заключено ее в продуктах творчества других исторических народов: в искусстве и философии Древней Греции, в праве Рима и проч., и это с точки зрения общечеловеческой, вовсе не православной только. Оригинальная черта Византии состоит в том, что, взяв важнейшие моменты бытия человеческого — рождение, смерть, обращение души к Богу, — она окружила их такой высокой поэзией, возвела к такому великому смыслу, к какому они никогда дотоле не возводились в истории. Литургия Иоанна Златоуста или песнопения Иоанна Дамаскина — это в своем роде исторический Капитолий или Парфенон, это так же глубоко, прекрасно и правильно отвечает некоторому предмету своему, как только что названные памятники отвечают своему особому смыслу.

А если мы подумаем, что все-таки навсегда человек остается прежде всего человеком, что его отношение к Богу, судьба души его за гробом важнее для него всяких отношений государственных и правовых и пр., — то особый труд Византии представится даже для историка-язычника едва ли не важнейшим во всемирной деятельности народов. Такому историку предстоит обнять своим умом те неисчислимые миллионы человеческих сердец, которые все были согреты, вразумлены, наполнены этими песнопениями, этими общими молитвами «о страждущих, недугу-

---

\* Вообще, нам думается, судьба Византии от Константина Великого, ее основателя, до падения ее в 1453 г. представляет интерес и значительность истории особого и совершенно оригинального культурно-исторического организма, и с нею ни в какое сравнение не может идти по значительности и интересу история собственно Итальянской империи, от Августа до Ромула Августула. Только нужно при этом помнить, что центр истории византийской лежит во Вселенских соборах, в деятельности отцов церкви и еретических волнениях, — наконец, в жизни и трудах отшельников-анакхоретов, и гораздо менее — в императорском дворце или вообще в самом Константинополе. С этой точки зрения, т. е. не с отрицательной, а с положительной, которая выясняла бы исторический труд Византии, — история ее не написана; но для ума глубокого и свободного нет эпохи во всемирной истории, столь же мало исчерпанной и так интересной. Добавим, что разработать в подробностях и, наконец, воссоздать в целом эту историю составляет прямую образовательную задачу науки всеобщей истории у нас, в России.

ющих... о мире всего мира»... Повсюду, где светит солнце, где люди болеют и скорбят, — чтобы понять все современное ничтожество в сравнении с этим эпикурейского наслаждения искусством немногих избранных или кропотливых изысканий над римским правом толпы мумиеобразных юристов. Обычно принято считать Византию чем-то сухим, от юности старообразным; быть может, это и так. Но несомненно, что в старости своей, быть может глубже всех народов почувствовав близость к себе великого момента смерти, она высказала слова неизъяснимой глубины, создала вечно живой цвет, который вот уже тысячелетие наполняет историю своим благоуханием и дает народам силу к жизни, без которой они не могли бы, не захотели и не сумели иногда вынести тяжесть судьбы своей на земле.

К. Н. Леонтьев живо чувствовал эту красоту восточного христианства, во всей строгости его древней архитектоники. Он справедливо не доверял творческим силам своего времени, своего общества, — и вот откуда у него вытекло глубокое отвращение и негодование при виде попыток нового религиозного творчества, какие он видел поднимающимися вокруг себя, стоя почти на краю могилы. Уже гораздо ранее, думая о нашем простом народе, он отметил странную его склонность к этому творчеству, «к разным еретическим выдумкам», вовсе неизвестную на Востоке. Позднее ему пришлось наблюдать взрыв этой склонности и в высшем обществе. Мудро и осторожно он указал при этом на протестантизм, по-видимому столь высокий и прекрасный в первые свои минуты, так неизмеримо более привлекательный и жизненный, нежели ветхий католицизм. Но прошло полтора века и этот протестантизм выродился в казуистику гораздо более сухую, чем католическая, и в ряд бледных, ничтожных учреждений полуполицейского характера. Все сохнет в нем, все разлагается на наших глазах. И, думая об этом, он печально предостерегал и наше общество. Разрушать, отшатываться от тысячелетних созданий — легко в истории; но созидать в ней — это очень трудно. Только при начале своей исторической жизни народы обладают этой удивительной, необъятной силой созидания; не думая о красоте — они созидают так невыразимо прекрасное; не думая о прочности — созидают вековечное. Быть может, потому это, что они думают только об истине, о безусловной правде для сердца своего, для Бога. Можем ли мы также думать только об этой истине, об этой правде? И гораздо более полные всяческой ненавистью, нежели истинной любовью к чему-нибудь, — что можем мы создать, кроме уродливого и безобразного, если не для нас еще, то для детей уже наших?

Отсюда вытекла его строго охранительная деятельность; тут сказался его глубокий и осторожный ум, который жизнь будущую ценит гораздо более настоящей, охранение ее от болезней считает нравственным для себя долгом. У нас все немножко «пантеисты», все несколько «республиканцы» — и по воспитанию своему, и по какой-то русской действительно склонности к бесформенности. У нас не любят никаких форм, которые теснят воображение, тяготят ум. И тем более неизъяснимый интерес находим мы в писателе, который неожиданно открывает нам всю необъятную значительность этих форм, всю невозможность без них жизни или, по крайней мере, ее прочности. Мы находим в этом коренное противоречие с тем, как много лет уже привыкли сами думать; но вслушиваемся невольно в печальную речь человека, так очевидно благородного, который любит нас и прочность нашего будущего, быть может более, чем мы сами его любим. Его слова производят на нас неотразимое впечатление, тем более что сказаны они в какой-то задумчивости, очевидно не имеющей ничего общего с заботой об этом впечатлении. И течение мыслей наших невольно получает обратное с прежним направление...

Если мы спросим себя, куда же направляется это течение и в чем лежит главная забота писателя, за которым мы невольно следуем, то должны будем ответить: *в сохранении жизни, в чувстве влечения к ней как к величайшей красоте природы.*

И в самом деле, в этом состоит общий и главный смысл всех его писаний: *красота есть мерило жизни, ее напряжения*; но красота не в каком-либо узком, субъективном ее понимании, а только в значении — *разнообразия, выразительности, сложности.* Все, что существует в мироздании, что появляется в истории, подчинено этому общему и глубокому закону, что, возрастая в жизненности своей, возрастает и в обилии, разнообразии и твердости своих форм; а падая, возвращаясь к небытию, — ослабевает в формах своих, которые смешиваются, сливаются, блекнут и наконец исчезают, оставляя после себя могильный прах. Пожалуй, здесь мы видим приложение аристотелевской формулы, о котором великий Стагирит, конечно, не думал: *causa formalis* есть вместе и *causa efficiens*<sup>36</sup>, т. е. что вид, обособление от остального, есть сила творящая в мироздании. Во всяком случае, это правдоподобно по отношению к безжизненной природе и, безусловно, истинно в сфере истории. Но если так, наш взгляд на текущую историю должен быть очень печален: руководимые призрачными абсолютными идеалами и главным образом обманчивой иллюзией устроить счастье на земле всех народов, мы более и более снимаем с этих народов именно оформливающие их начала — религиозный культ, историческую государственность,

бытовую обособленность, — не замечая, что сливаем их через это в безвидную массу первобытного человечества. «Нет высшего счастья для человечества, как еда, и нет высшего закона для него, как труд», — повторяем мы и разворачиваем дальше и дальше с него исторические одеяния, — пока оно не останется наго от всего, не станет, как и при исходе истории, только с желудком и мускулами, накормить который, утрудить которые снова сделается одной его заботой.

Это все понял писатель, о котором мы говорим, и твердое слово свое противоположил течению всех дел в жизни, которая его окружала. Им руководило доверие, что идеальное начало еще не утеряно в человечестве, что, раз оно поймет смысл своей истории в текущую эпоху как регресс, оно остановится, удержится от дальнейшего разрушения всяких форм. Он думал, что инстинкт красоты в человечестве еще сильнее пылающей уже всюду взаимной ненависти, в силу которой народы, сословия, индивидуумы обрывают друг с друга последние клоки истории, чтобы равно убогими, равно нищими сойти в землю, из которой все вышли. Но его голос звучал, по крайней мере до сих пор, напрасно. Ничего не доставало этому голосу: ни красоты, ни силы, ни наконец понятности. Одного доставало ему: исторической своевременности... Как идут, и к смыслу речей его и к его судьбе, эти известные стихи, как будто сказанные о нем:

На буйном пиршестве задумчив он сидел,  
Один, покинутый безумными друзьями,  
И в даль грядущего, закрытую пред нами,  
Духовный взор его смотрел.

...Исполнены печали,

Средь звона чаш, и криков, и речей,  
И песен праздничных, и хохота гостей  
Его слова пророчески звучали...<sup>37</sup>

Все было так, как сказано здесь: и то, что ежедневно совершается перед нашими глазами, есть старая, вечно поучительная, но никого не научающая история.

«В своем отечестве никто не бывает пророком»... Неужели это всегда правда? Неужели и ни одно отечество, вечно повторяя эти слова, никогда не оглянется на себя и не поймет тех, кто его так любит, ради него столько несет?.. И тогда зачем же этот горький дар предвидения, эти силы души, пронизательность разума, красота слова? Неужели лучшие дары нашей природы ниспосланы нам в издевательство, чтобы только сделать более горьким наше существование?

